This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

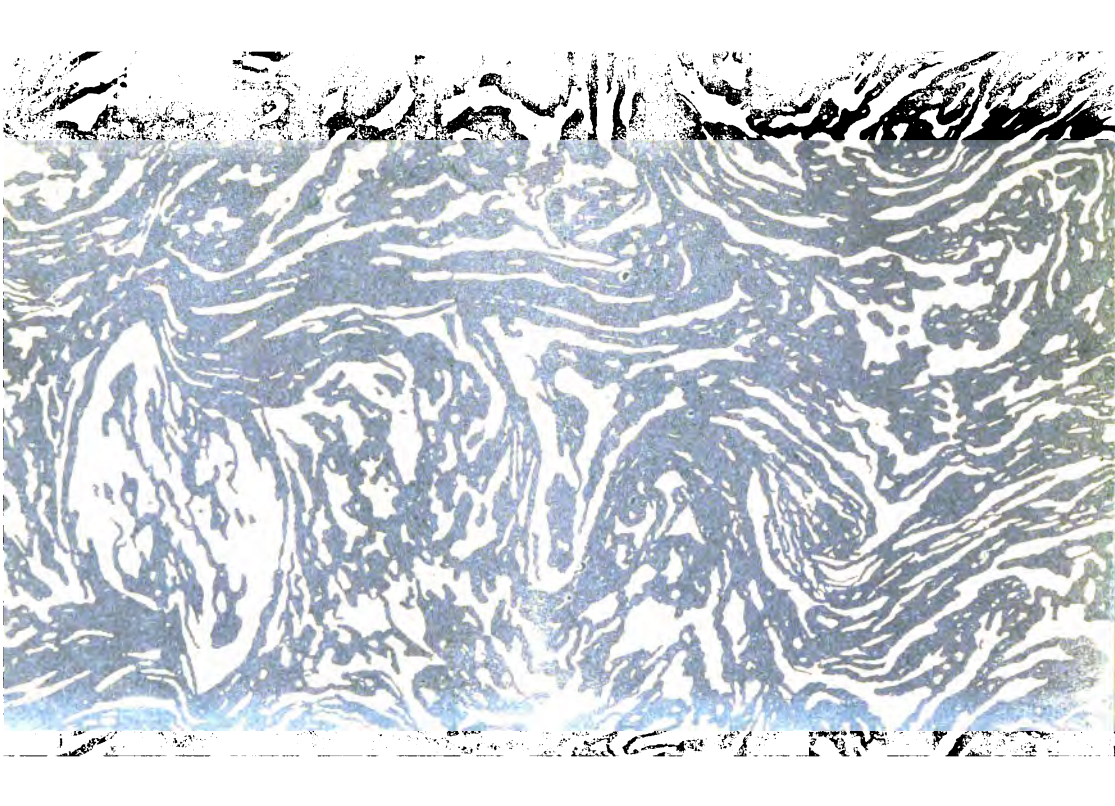
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

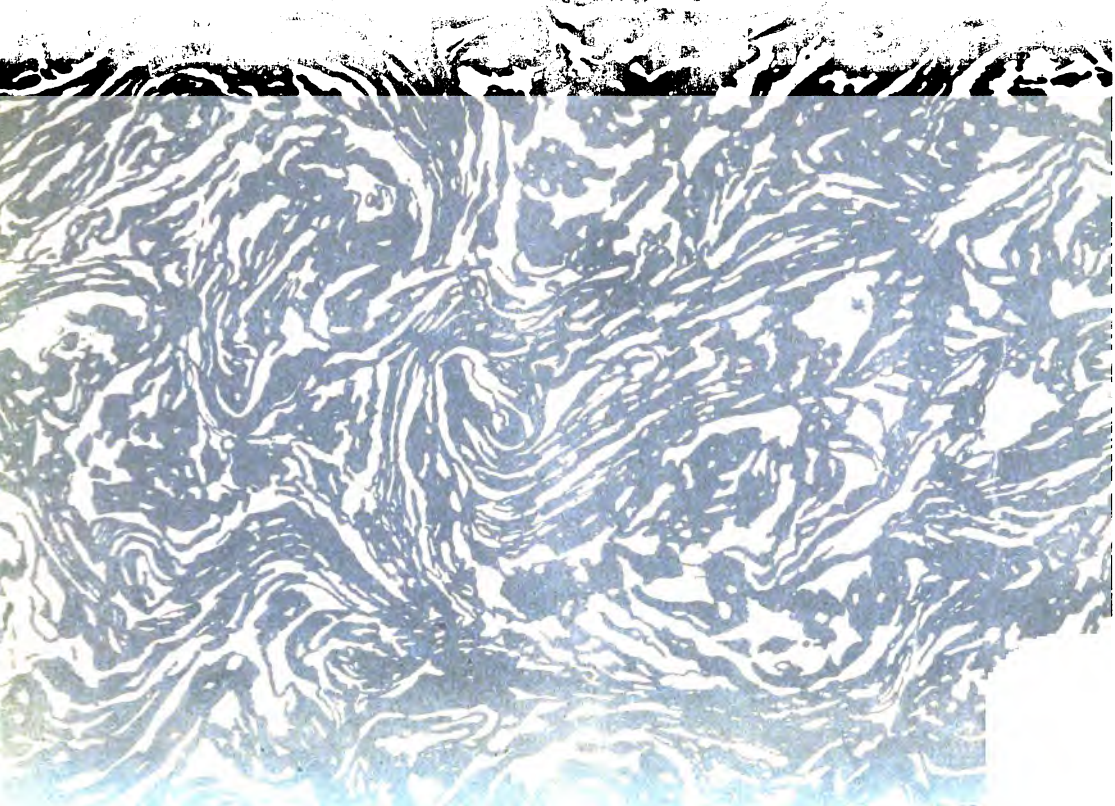
О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
$B 128 187

RKELEY
RARY
ERSITY OF
LIFORNIA





Jasinskii, I. I.

МАКСИМЪ БѢЛИНСКІЙ.

КІЕВСКІЕ РАЗСКАЗЫ

Типы Царскаго сада. — Толкучка.—Святочные разсказы—Сборы на дачу. — Спеціалистъ — Врагъ рода человѣческаго.

КІЕВЪ.
Тип. Г. Л. Фронцкевича. Никольская ул., домъ № 11.
1885.

LOAN STACK

Дозволено цензурою. Кіевъ, 23 октября 1884 г.

PG3467
I25K5

Типы Царскаго сада.

ДВОРЯНСКАЯ ДОЧЬ.

День былъ жаркій, хоть и апрѣльскій, и въ тепломъ пальто было довольно тяжело бродить по откосамъ и крутизнамъ Царскаго сада, въ надеждѣ встрѣтить живописное мѣстечко и зачертить въ альбомъ. Живописныхъ мѣстечекъ тутъ, разумѣется, множество и оттого такъ затруднителенъ выборъ для нашего брата, художника: и направо дерево дуплистое, корявое, раскидистое, старое, такое, что, глядя на него, душа радуется; и налѣво, чуднаго весенняго тона, и прямо, и куда ни кинешь глазомъ.

Полчаса проискалъ я чего-нибудь еще поживописнѣе и, наконецъ, спустился подъ

гору. Огромная вѣковая липа привлекла мое вниманіе. Эта липа, толщиною въ два обхвата по крайней мѣрѣ, роскошно разрослась и слегка наклонилась къ горѣ, точно поддерживала ея тяжесть, какъ какая-то колосальная каріатида, упираясь въ землю огромными полуобнаженными корнями, расходившимися вилообразно, или на подобіе двухъ могучихъ ногъ. Здѣсь было тѣнисто. По глинистому руслу змѣился ручеекъ и было бы преступленіемъ, еслибъ я не остановился на этой красавицѣ-липѣ. Благо, недалеко лежалъ большой камень. Я сѣлъ на него, раскрылъ альбомъ и сталъ работать.

Корни липы, расходясь, образовывали нѣчто въ родѣ пещеры, пещеры настоящей, но только неглубокой. Когда карандашъ мой дошелъ до нея, то я замѣтилъ, что тѣнь въ ней гораздо пестрѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Я всталъ и, къ удивленію своему,

увидѣлъ, что тамъ была скамейка, на которой могъ-бы лечь человѣкъ, подобравъ подъ себя ноги. Возлѣ скамейки стоялъ глиняный красный кувшинъ съ отбитой ручкой и валялся букетъ пролѣсокъ.

Эта пещера была обитаема!

Я зналъ, впрочемъ, что Царскій садъ населенъ разной бездомной голытьбой; но я не думалъ, что населенъ онъ въ прямомъ смыслѣ слова. И мое недоумѣніе и удивленіе было скорѣе археологическаго характера: такъ удивился-бы археологъ, который, зная о доисторическихъ людяхъ только изъ книгъ и по музеямъ, вдругъ очутился бы передъ жилищемъ пещернаго человѣка.

Позади меня раздался трескъ сухаго сучка. Я обернулся: шла нищая, ужасная на видъ, въ ваточной кацавейкѣ, въ грязномъ тепломъ платкѣ, въ отрепанной, свѣтящейся отъ дыръ, ситцевой юпкѣ и

резиновыхъ глубокихъ калошахъ. Изъ глубины этого клубка вонючихъ тряпокъ свѣтилась пара узенькихъ человѣчьихъ глазъ и краснѣлъ острый нюхающій носъ.

— Не эта-ли дріада, подумалъ я, живетъ подъ сѣнью густолиственной липы?

— Здравствуйте, произнесла она, приближаясь.

— Здравствуйте, отвѣтилъ я.

Она хрипло засмѣялась.

— Вы что здѣсь дѣлаете, баринъ?

— Видите—рисую.

Новый взрывъ хриплаго смѣха.

— Для чего рисуете?

— Такъ надо.

— Такъ надо, повторила она и заглянула въ альбомъ.

— Сымите меня, баринъ, сказала она послѣ паузы.

Нищая была очень типична, я бросилъ на нее пытливый взглядъ, и такъ

какъ липа была окончена, я приготовилъ новый листокъ альбома.

— Хорошо, садитесь, я нарисую васъ.

— Гдѣ садиться?

— Садитесь на эту скамеечку.

— Хи-хи-хи!

— Что вамъ смѣшно? Сидите смирно. Я заплачу вамъ.

Она усѣлась. Но не успѣлъ я обвести контуръ ея фигуры, какъ она опять заволновалась.

— Мнѣ, баринъ, выпить хочется за ваше здоровье... Баринъ, а баринъ, когда я была молоденькая, то одинъ прапорщикъ мнѣ пять рублей далъ за то, что я снялась голая... И тую карточку онъ при сердцѣ своемъ по гробъ жизни обѣщалъ носить... Мнѣ ежели, баринъ, вы дадите двугривенный, то я выпью... Ахъ, какъ выпью!

— Тише, пожалуста. Вотъ отвѣтьте мнѣ лучше: вы здѣсь ночуете, въ этомъ дуплѣ?

— Хи-хи-хи!

— Вамъ трудно сказать, что-ли?

— Это всѣ тутъ ночуютъ. Кто первый пришелъ, тотъ и ночуетъ. Здѣсь свадьбы справляютъ! хи-хи!

— И вы здѣсь бываете?

— А какже!

— Вы? да сколько вамъ лѣтъ?

— Сорокъ третій... А только Богъ его знаетъ. Я не считала. Можетъ, я еще и молодая. Меня унтеръ-офицеры очень обожаютъ, заключила она съ достоинствомъ.

— Такъ-съ.

— Я вѣдь не какая-нибудь. Я дворянская дочь, продолжала нищая. Они меня за благородство избираютъ. Тутъ молоденькихъ много шляется. Да кровь не та. Нѣтъ!

— Если вы дворянка, зачѣмъ вы называете меня бариномъ?

— Какъ-же васъ назвать? Ну, хорошо буду говорить вамъ: господинъ фотографъ!

Она засмѣялась.

— Отпустите, ой отпустите душу на покаяніе! Пить хочется, смерть моя!

— Подождите немножко. Не вертитесь.

— И зачѣмъ вамъ мой патретъ—право, я не знаю, съ кокетливой ужимкой начала она.

— Вы вѣдь сами просили.

Она закрыла лицо рукой и сквозь пальцы жеманно смотрѣла на меня.

— Примите руку.

Въ отвѣтъ она стала смѣяться, тереть ладонью по носу и, наконецъ, легла.

— Ой,—смерть моя!

— Чортъ возьми, вы ни копѣйки не получите! сказалъ я сердито и захлопнулъ было альбомъ.

Она мгновенно выпрямилась, скромно сѣла и не шевелилась.

— Сымайте уже, сымайте скорѣй! Это я такъ.

Я началъ рисовать.

— Глаза рисуете?

— Да.

Она вдругъ выпучила глаза, широко раскрывъ ихъ.

— Что вы дѣлаете! Зачѣмъ вы глаза таращите?

— Что-бъ лучше вышло. Когда глаза большіе, то красивѣе.

Она кокетничала!

— Скажите, вы постоянно въ саду? Круглое лѣто?

— А то-жъ! Да и зимою случается, когда къ Терещенкѣ, въ ночлежный домъ, не попадешь.

— Зимою въ саду? Холодно вѣдь!

— Новости какія! До кучи сберемся, мужчины и бабы, и грѣемся. Въ прошедшемъ году одна дѣвушка Богу душу отдала. Или мы приспали ее, или ужъ худо одѣта она была, а только такъ случилось. Проснулась я... братцы мои! Что

это, ледъ такой у меня подъ бокомъ! Цапъ—ажъ то Машка закоченѣла...

— Вы испугались?

Въ отвѣтъ она пожевала мягкими, какъ у лошади, подвижными губами.

— Красивая эта дѣвушка была, начала она вдумчиво. Тѣло бѣлое, а ни пятнышка. На меня была очень похожа.

— Вы никогда не пробовали служить?

— На что мнѣ служить? Хи-хи-хи! Невидаль! Да и гдѣ мѣсто найдешь? И кто меня возьметъ... такую...

— Какую?

— Дворянскую дочь, пояснила она. Непривычное дѣло мое!

— Но вѣдь когда-нибудь и что-нибудь вы работали?

Она долго думала, какъ-бы вспоминала. И, наконецъ, рѣшительно сказала:

— Никогда! Я у своихъ родителей была первой дитей. А родители были богатые,

въ казенномъ мѣстѣ готовая квартира съ отопленіемъ и прислугой и маменька каждый день на фортепьянахъ играли... Учили меня, правда, да что толку...

Она махнула рукой.

— Господинъ фотографъ! Великодушный мусье! вскричала она. Подступило! Сюда подступило! Пить! Позвольте хоть на крючокъ...

Я далъ ей двугривенный. Она вскочила съ быстротой молодой дѣвушки и носъ ея еще сильнѣе покраснѣлъ отъ радости и отъ предвкушенія блаженства выпивки. Но мимоходомъ она не забыла взглянуть на свой портретъ. Она ухмыльнулась, покачала головой, лукаво взглянула на меня и изчезла за кустами.

До меня долго доносился ея хриплый смѣхъ.

Апрѣль, 1884.

ПЕТЬКА ГОЛЫЙ.

... Предо мною стоялъ человѣкъ лѣтъ сорока восьми, невысокаго роста, мальчикъ по сложенію, съ кудлатой бороденкой песочнаго цвѣта, съ большой головой и съ огромнымъ, до ушей, тонкогубымъ ртомъ, придававшимъ всей неопрятной образинѣ незнакомца что-то лягушечье. Совершенно круглые металическіе глазки прятались въ морщинистыхъ вѣкахъ, картузъ съ разорваннымъ на двое бумажнымъ козырькомъ ухарски сидѣлъ на макушкѣ и красная кумачевая рубашка была разстегнута, обнажая бѣлую, безволосую, мальчишескую грудь. Поверхъ рубашки былъ надѣтъ пиджакъ щегольского парижскаго

покроя. Шелковая подкладка лохмами висѣла тамъ и сямъ. Пиджакъ былъ, впрочемъ, не старъ, но было видно, что владѣлецъ обращается съ нимъ крайне небрежно. Ни одной пуговицы не сохранилось на пиджакѣ. Незнакомецъ стоялъ, заложивъ въ карманы пиджака руки и, выпятивъ животъ, смотрѣлъ въ упоръ на меня. Весьма характерно было, что ноги у него были голыя. Замѣтьте: не босыя, а голыя. Панталоны состояли изъ обрывковъ какой-то синей матеріи, должно быть китайки, грязной - прегрязной. Дыры были такъ громадны, что, въ самомъ дѣлѣ, ноги казались голыми и бѣлѣлись на темнозеленомъ фонѣ Царскаго сада, точно двѣ березки, плохо одѣтыя скудной листвой. На ступняхъ-же красовались порыжѣлыя, но крѣпкія клуговскія ботинки, съ загнувшимися кверху носками, напоминая собою копыта извозчичьей лошади.

— Что-жъ вамъ, господинъ, надо? сказалъ, наконецъ, незнакомецъ, между тѣмъ какъ я пристально смотрѣлъ на него.

— Посидите или постойте. Я васъ нарисую...

— И за это, значитъ, заплатите? *Дурныя* деньги у васъ, что-ли?

— Не ваше дѣло. Я вамъ обѣщалъ заплатить, и такъ-какъ сидѣть болѣе или менѣе неподвижно все-таки трудъ, то вы возьмете плату, какъ должное... не церемонясь...

Незнакомецъ снисходительно усмѣхнулся, тоже не спуская съ меня взгляда.

— Вы думаете, мнѣ совѣстно деньги съ васъ брать? Премного ошибаетесь. А я къ тому, что зачѣмъ вамъ понадобилась моя карточка? Вѣдь, на что-нибудь она вамъ годится?

Я долженъ былъ объяснить, что это вовсе не фотографія и что рисую я исключительно для себя.

— Мнѣ не карточка ваша нужна, а рисунокъ... понимаете?!

— Фотографія съ руки, развѣ трудно понять! Вы это въ насмѣшку пустите— вотъ что! Вотъ чего мнѣ не хочется! Въ газетѣ отпечатаете! Люди добрые посмотрятъ и посмѣются, а намъ, согласитесь сами, обидно. Нашъ братъ тоже имѣетъ самолюбіе.

— Да увѣряю васъ, что печатать вашего портрета не стану. Я рисую, чтобъ руку разминать, чтобъ глазъ не тупѣлъ... Ну, какъ ему объяснить это! съ досадой воскликнулъ я.

И, должно быть, восклицаніе подѣйствовало на незнакомца: онъ повѣрилъ

искренности моего увѣренія, лягушечьи глаза его улыбнулись, онъ сказалъ:

— Ну, да ладно. Снимайте!

Онъ небрежно полулегъ на траву, облокотившись. Сначала его интересовало, что я дѣлаю. Затѣмъ лицо его приняло равнодушное выраженіе и онъ, прищурившись, тупо смотрѣлъ вдаль.

Мнѣ хотѣлось вызвать его на разговоръ, и я нѣсколько разъ начиналъ бесѣдовать съ нимъ, но онъ отдѣлывался односложными отвѣтами, мычалъ, зѣвалъ.

— Я ужь не перваго васъ срисовываю... началъ я.

— Всякій свою линію ведетъ, сентенціозно произнесъ онъ и сплюнулъ, продолжая глядѣть въ неопредѣленное пространство.

— Въ тотъ разъ я двадцать копѣекъ заплатилъ...

— Отчего-жь не заплатить, когда стоитъ...

— А вамъ, можетъ, и прибавлю...

— Покорно васъ благодарю.

Лучи солнца отвѣсно били на насъ и такъ нагрѣли голову незнакомцу, что онъ мало-по-малу задремалъ. Клюнувъ носомъ, онъ просыпался и таращилъ глаза; но черезъ минуту снова засыпалъ. Я былъ радъ, когда портретъ пришелъ къ концу и сонливый незнакомецъ, получивъ деньги, удалился отъ меня.

Дня черезъ два, любуясь солнечнымъ закатомъ съ крутого берега Днѣпра, я опять увидѣлъ незнакомца. Онъ тоже стоялъ на горѣ и смотрѣлъ на Подолъ, тонувшій въ розовомъ туманѣ. Неужто и этотъ оборванецъ не лишенъ чувства при-

роды? Мы, художники, иногда черезчуръ заносимся, воображая, что мы одни способны наслаждаться красотой. Оборванецъ, впрочемъ, не былъ уже оборванцемъ. Нанемъ была сѣрая пара и новый картузъ. Онъ поклонился мнѣ привѣтливо, какъ старому знакомому. А когда я отвѣтилъ на его поклонъ, онъ въ радостномъ волненіи подошелъ ко мнѣ.

— Узнаете-ли вы, господинъ, Петьку Голаго? произнесъ онъ хвастливо и окинулъ себя довольнымъ взглядомъ.

Да, строго говоря, его трудно было узнать. Все на немъ было чисто, и только кумачевая рубаха по прежнему была разстегнута на груди. Онъ точно помолодѣлъ и морщины на его загорѣломъ рябоватомъ лицѣ разгладились.

— Васъ Петькой Голымъ зовутъ? Да, вы измѣнились. Поступили на мѣсто, что ли?

Онъ разсмѣялся.

— Съ какой радости? Скоро двадцать пять лѣтъ, какъ я свободный человѣкъ. Никому не служу, самъ себѣ панъ.

— Вы изъ крѣпостныхъ?

— Да. Лаврскій штатный. А все въ прокъ мнѣ ваши денежки пошли! Изволите видѣть, какъ дали вы мнѣ позавчерась два пятиалтынныхъ, въ тую-же минуту сѣлъ я въ карты играть и въ тую-же минуту всѣхъ обобралъ, то есть до нитки, до послѣдняго гроша, даже платочекъ на шею и тотъ выигралъ. Но какъ, значитъ, не терплю стѣсненія гортани, то и бросилъ его... Очень вамъ благодаренъ, господинъ, за легкую руку.

Онъ церемонно поклонился.

— Обработалъ, подремизилъ, обчистилъ, голыми по міру пустилъ! вскричалъ онъ въ какомъ-то экстазѣ. Съ генеральскаго кучера богатѣйшую плисовую поддевку

снялъ, а Федосѣя лавочника на семнадцать карбованцевъ нагрѣлъ! Да что— всѣхъ нагрѣлъ! Мѣди и серебра въ платокъ навязалъ! Почитай, всего рублей за тридцать хватилъ! Часы выигралъ! Ловкое дѣло сдѣлалъ.

Онъ показалъ мнѣ потертые серебряные часы и нѣсколько асигнацій.

— Гдѣ-же это вы... здѣсь, въ саду играли?

— А то-жъ! Вонъ и теперь дуются! Вонъ видите!

На полянкѣ, освѣщенной умирающими лучами солнца, лежала вокругъ чего-то бѣлаго кучка людей, расположившись звѣздообразно, головами къ центру. Они молча и сосредоточенно играли въ карты.

— Теперь я на человѣка похожъ, продолжалъ Петька Голый. А то, что я былъ? Жуликъ, босякъ?! Самого себя стыдно было! Вѣрите, какъ вы стали рисовать,

такая совѣсть заговорила, что чуть я васъ тогда ножомъ не пырнулъ. Но только ножа на ту пору не случилось, да и трусъ я—курицы обидѣть не могу. Вотъ и жидовъ когда били, всего только и попортилъ я, что мальчишкѣ ихнему скулу своротилъ, да еще евреечкѣ пальчикъ вывихнулъ. Потому-что я до женскаго пола чрезвычайно какъ, могу сказать, охочъ. Теперь на мнѣ не краденое, съ позволенія сказать, а свое собственное—и шапочка, и штаники, и сюртучекъ. И при часикахъ я, и при капиталѣ. Вы какъ думаете? Я такого счастья, можетъ, уже десять лѣтъ жду, да все никакъ дождатья не могъ, и какъ оно привалило—рѣшительно не соображаю и до сихъ поръ полагаю, что это во снѣ...

Онъ съ недоумѣніемъ взглянулъ на меня, на свои часы, на асигнаціи и широко улыбнулся.

— Ну, нѣтъ! Кабы не такъ! Не сонъ это! И за что это мнѣ, Господи! Вѣрно, за то, что десятки лѣтъ голодалъ, холодалъ, угла, гдѣ голову преклонить, незналъ, а въ юности монастырскаго кнута въ избыткѣ даже отвѣдалъ и весь вѣкъ сиротой промаячилъ! Ну да ужъ и справлю я праздникъ! Боже мой!

На секунду онъ зажмурилъ глаза.

— Первымъ дѣломъ, господинъ, возьму номеръ въ гостинницѣ, чтобъ все было прилично. Я какъ выигралъ деньги, то весь день еще не ѣлъ и не пилъ, и въ желудкѣ у меня, извините за грубость, соловьи щелкаютъ. Нарочно жду, чтобъ пріятнѣе кушанье показалось. Человѣкъ во фракѣ и бѣломъ жилетѣ будетъ у меня прислуживать и всѣ мои приказанія духомъ исполнять. „Эй, братецъ, подай этого“! „Эй, милый, принеси того“! „Раздѣнь меня, братецъ“! Четыре рубля

и пятьдесятъ копѣекъ опредѣлилъ я на одно это! А за три рубля Дуньку Плѣшивую возьму, да ея сестренку Таньку, да пусть пляшутъ и пятки мнѣ чешутъ, какъ настоящему барину. Вина на пять цѣлковыхъ куплю. Да что Дунька Плѣшивая, или Танька! Экая невидаль! Я настоящую барышню приглашу съ Крещатика или изъ Шата. По стрункѣ ходи передо мной! Повинуйся мнѣ! Ухъ, мамочка!!

Онъ вошелъ въ азартъ и размахивалъ руками. Его глазки сверкали, какъ двѣ огненныя точки. Это былъ мечтатель, много лѣтъ ограничивавшійся только грезами о хорошемъ житьѣ-бытьѣ и, наконецъ, достигшій, нежданно-негаданно, возможности осуществить свой завѣтный идеалъ. Этотъ Петька ходитъ чуть не нагимъ, голодный и озлобленный, безплодно вожделѣющій, и вдругъ онъ одѣтъ,

онъ въ ,,шапочкѣ“ и ,,при часикахъ“. У него голова шла кругомъ и, при малѣйшей фамильярности съ моей стороны, онъ заключилъ-бы меня въ объятія и предложилъ-бы, можетъ быть, принять участіе въ его предстоящемъ пиршествѣ. Я умышленно велъ себя сдержанно и сухо.

— До свиданья, сказалъ я, видя, что солнце погрузилось за черту горизонта и что долѣе оставаться въ Царскомъ саду небезопасно: въ ,,населенности“ его я убѣдился еще въ первую прогулку.

— Постойте, господинъ, озабоченно и просительно сказалъ Петька Голый. Что я васъ спрошу... Какъ у васъ рука легкая... И отъ васъ мнѣ счастье...

Онъ посмотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ игроки неподвижно лежали вокругъ картъ, страстно затаивъ дыханіе и, должно быть,

крѣпко напрягая зрѣніе: быстро смеркалось.

— И какъ вы доброй природы, продолжалъ Петька,—а между тѣмъ, я въ самомъ игроцкомъ ударѣ... И чтобъ ужъ кутить, такъ кутить: и Дуньку, и Таньку, и барышню, и чтобъ даже шарманка была... То не будете ли вы въ такой степени великодушны—не позычите-ли мнѣ еще хоть десять копѣекъ? Пойду, поставлю и навѣрно выиграю... Тутъ солдатикъ лежитъ, я завѣдомо знаю, у него три красненькихъ въ ладонкѣ. Страсть хочется еще и этія деньги сорвать!

Онъ такъ сіялъ, онъ такъ былъ увѣренъ въ выигрышѣ, а съ другой стороны, мнѣ такъ хотѣлось поскорѣе уйти домой отъ этихъ подозрительныхъ фигуръ и отъ самаго Петьки Голаго, что я далъ ему десять копѣекъ.

— Поздно ужь... неужели еще играть можно? спросилъ я.

— Нѣтъ, этакъ черезъ полчасика мы переберемся... Тутъ у насъ въ Провальѣ притонъ есть... Да мнѣ не долго. Мнѣ только солдатика этого облапошить!

Онъ безпечно засвисталъ и подошелъ къ группѣ картежниковъ. Кажется, его не сразу приняли, опасаясь его чертовскаго счастья.

На слѣдующій день, рано утромъ, я встрѣчаю его снова въ Царскомъ саду. Онъ по прежнему былъ въ изношенномъ картузѣ съ раздвоеннымъ козырькомъ и ноги у него были голыя. Вчерашняго великолѣпія какъ небывало. Лицо его поражало своимъ старческимъ видомъ, своимъ землистымъ цвѣтомъ, потухшими глазами, подъ которыми стояло по фонарю. Мнѣ показалось, что въ его бородѣ много сѣдины.

Замѣтивъ меня и мой вопросительный взглядъ, Петька Голый нахмурилъ брови и звѣрски закусилъ нижнюю губу. Онъ ничего не сказалъ. Но я догадался: мои десять копѣекъ на этотъ разъ принесли несчастье.

Май, 1884.

ДУНЬКА ПЛѢШИВАЯ.

Босяки, населяющіе Царскій садъ, не только знакомы между собою, но и почти всѣ большіе пріятели. Что-то въ родѣ артелей или кружковъ, существуетъ у нихъ. На голодный желудокъ, босякъ лежитъ подъ деревомъ и дремлетъ, лѣнивымъ глазомъ посматривая на прохожихъ. Но если ему удастся раздобыть копѣйку, онъ вдругъ оживляется. Онъ вскакиваетъ, торопливо шагаетъ по откосамъ, и его оживленіе такой благопріятный признакъ, что мигомъ вскакиваютъ и другіе босяки, столь-же лѣниво и безнадежно дремавшіе тамъ и сямъ въ

саду. Вокругъ счастливца собирается кучка голодныхъ друзей и кто-нибудь, одѣтый по-приличнѣе, снаряжается „въ городъ“ за селедкой или колбасой, а также за полуштофомъ. Выпивъ и закусивъ, босякъ „полагаетъ себя“ самымъ счастливымъ человѣкомъ въ мірѣ и объ одномъ только молитъ Бога, чтобы холода не наступили, чтобъ дождей не было и чтобъ полиція не привязывалась.

— Житья нѣтъ благороднымъ людямъ, говоритъ босякъ. Повсемѣстный позоръ и прижимка! Помилуйте, господинъ, я живу, какъ человѣкъ Божій, днемъ сны вижу, а ночью соображеніями занимаюсь. Постель у меня — кулачекъ подъ головку, зонтикъ — лопухъ надъ головкой, служу очень даже усердно — деревья въ Царскомъ саду подпираю, безъ меня то-есть попадали-бы... И вдругъ откудова ни

возьмись—полиція! Зачѣмъ? По какому твоему праву? Натурально, нашъ братъ ропщетъ и гнѣвается!

Послѣ обѣда босякъ, находясь въ пріятномъ расположеніи духа, бродитъ по саду, забираясь въ самую глухую чащу. Не изъ желанія промыслить что-нибудь предпринимаетъ онъ эти прогулки, а просто ради развлеченія.

Добыча-же довольно постоянная заключается въ срываніи платковъ съ спящихъ въ саду мертвымъ сномъ богомолокъ и богомольцевъ. Иногда и поцѣннѣе вещь унесутъ. Подвиги эти сопровождаются смѣхомъ, шутками и прибаутками. Сначала жертва выслѣживается, затѣмъ изслѣдуется, нѣтъ-ли поблизости полицейскаго, или тайнаго (члена тайной полиціи, котораго по наружности иногда трудно отличить отъ босяка), наконецъ, жертва

оцѣпляется. Платокъ или другой »призъ« передается изъ рукъ въ руки съ изумительной быстротой. И онъ уже проданъ и пропитъ, а бѣдная жертва все еще спитъ своимъ тяжелымъ страннческимъ сномъ.

Босякъ »охочъ« до утонченныхъ удовольствій. Одинъ босякъ взбирался на деревья съ опасностью для своей жизни и оттуда смотрѣлъ, какъ дамы раздѣваются въ купальнѣ. Формы какой-то барышни такъ плѣнили его, что когда она снимала съ себя бѣлье, съ нимъ дѣлалась икота, по собственному его признанію. А когда она выходила уже изъ купальни на берегъ, босякъ слѣзалъ съ своей обсерваторіи и стремглавъ бѣжалъ къ барышнѣ. Ему хотѣлось вблизи посмотрѣть на эту »королевну«, которая ни разу и не замѣтила его. Вообще босякъ располагаетъ массой праздпаго вре-

мени и потому онъ мечтатель и любитъ райскія перспективы.

Но идеализмъ идеализмомъ, а реализма босякъ тоже не чуждъ. Любовью босякъ даже, можно сказать, пресыщенъ. Всѣ эти бездомныя старухи съ загорѣлыми, почти испеченными лицами, эти горничныя и кухарки безъ мѣстъ, босыя и подъ зонтиками, эти дѣвочки, закутанныя въ теплые платки и просящія у васъ Христа-ради, это все его любовницы. Только онъ ихъ не цѣнитъ. По его словамъ, всѣ онѣ »вниманія не стоющія«. Нѣкоторое исключеніе составляетъ развѣ Дунька Плѣшивая.

Главныя достоинства Дуньки — нравственныя. Разумѣется, мы говоримъ здѣсь о нравственности съ босяцкой точки зрѣнія. Никто скорѣе Дуньки не сбѣгаетъ за колбасой, за полуштофомъ. Никто

такъ во время не увидитъ полицейскаго. Она, какъ змѣя, вьется между кустами и деревьями, и »за ней« живется босякамъ Царскаго сада сравнительно спокойно.

Дунька одѣта кокетливо. Синяя шерстяная кофточка съ стеклярусомъ, красныя бусы, на головѣ бѣлый платочекъ, повязанный на манеръ капора—фургончикомъ, такъ что лицо ея всегда въ тѣни и оттуда смотрятъ темные, слегка сонные глаза. Дунька миловидная дѣвушка лѣтъ шестнадцати, съ мягкимъ вѣжливымъ голоскомъ; она знаетъ нѣсколько французскихъ фразъ, нерабочія руки черезчуръ тонки, благородной формы, и еслибъ не неизбѣжный синякъ подъ глазомъ и юпка, опустившаяся назади въ видѣ шлейфа, отъ постояннаго лазанья межъ кустами, то ее можно было-бы принять за провинціальную барышню, не кончившую образова-

нія по бѣдности родителей и, въ ожиданіи жениховъ, ведущую праздную жизнь, въ какомъ-нибудь заштатномъ городѣ Коропѣ или Березномъ.

Она не жеманилась, когда я заговорилъ съ нею, и охотно сѣла »сниматься«. Должно быть, между босяками Царскаго сада уже распространилось, что я человѣкъ безобидный, не членъ, напр., тайной полиціи, а дѣйствительно художникъ, и мои гривенники и пятиалтынные были внесены въ смѣту, болѣе или менѣе, постоянныхъ босяцкихъ доходовъ.

— Отчего васъ зовутъ Плѣшивою? спросилъ я.

Она засмѣялась.

— Оттого, что имъ нечего дѣлать и они все выдумываютъ на меня. Ужъ гдѣ-гдѣ, а на головѣ у меня волосъ— за три дня не выскубишь!

Она сняла платокъ и, въ самомъ дѣлѣ, обиліе волосъ было поразительное. Это были рыжеватые свѣтлые волоса, густыми прядями выбивавшіеся изъ подъ небрежно и неопрятно сложенныхъ на затылкѣ косъ.

— Видите, что я плѣшивая? произнесла она съ гордостью. Каждая захотѣла-бы такой плѣши! Но имъ натурально смѣшно, что волосъ много, и вотъ взяли и навпротивъ...

Она снова повязала платокъ.

— Скажите, есть у васъ родные?

— У меня тетя есть, и онѣ съ мужемъ. Но какъ Николай Семенычъ ко мнѣ все пристаютъ, то тетя возревновали и, прямо сказать, на улицу выгнали. Все это только буквально несправедливо. Порокъ и мараль—больше ничего! Николай Се-

менычъ сколько разъ въ саду встрѣтятъ и начинаютъ: »Дуничка, а Дуничка«!, но я на ихъ плевать хотѣла, хоть озолоти меня! Я еще Бога не забыла и грѣха такого на душу не возьму. Я говорю, грѣшно вамъ, Николай Семенычъ, вы вѣдь дядей мнѣ приходитесь. А они отвѣчаютъ: „Я, говоритъ, въ губернскомъ оправленіи служилъ и всѣ законы читалъ; и тамъ говорятъ, написано, что ежели не родной дядя, то—ничего“. Есть такой законъ?

— Не знаю, право. Всякіе законы есть. А только такого — должно-быть нѣтъ. Чтожъ, дядя теперь не служитъ?

— Запьянствовали, то имъ отказали отъ мѣста. На Соломенкѣ у нихъ свой домикъ—за тетей въ приданое взяли. И у насъ тоже былъ тамъ домикъ, и корова была, и садикъ. Папаша стрѣлочникомъ

на желѣзной дорогѣ служили. Бывало всего, всего принесутъ! Вотъ этакихъ свѣчекъ стеляриновыхъ... Потомъ папаша стали грустить, грустить, взяли, утромъ пошли, да и кинулись подъ поѣздъ. Тогда въ газетахъ объ насъ писали. Приносятъ это папашу, а у него въ грудяхъ ямка и черной кровью все запеклось, а очами такъ грустно дивлятся, и ручки у нихъ поломаны. Потомъ взяли и померли...

— Вы любили отца?

— Какъ-же не любить! помилуйте! Они меня баловали—не надо лучше. А мамаша, бывало, все бьютъ. Все меня учили, да, видно, мало—не такая-бы я вышла. Мнѣ десять лѣтъ было, а меня на рѣчку съ бѣльемъ зимою посылали. Ну я, натурально, бѣлье растеряю, оттого, что руки смерзнутъ. Прихожу домой, ни

жива, ни мертва, слезы глотаю, глядь — мамаша уже крючекъ допиваютъ. »Гдѣ бѣлье«? »Такъ и такъ, мамаша... Милая маменька, не бейте, ахъ, не бейте меня«! Но они, натурально, отколотятъ меня, какъ нельзя лучше, и все выспятками, все выспятками *), а далѣе схватятъ за уши, за косы — у меня уже косы порядочныя были... Пока папаша не придутъ, все бьютъ. Ужъ у меня и голоса кричать не хватаетъ. А придутъ папаша, онѣ съ папашей свариться начнутъ, за папашу уцѣпятся, зачѣмъ балуетъ меня. И такъ до полночи... А далѣе спать лягутъ, и меня, и папашу цѣлуютъ, и сами горько-горько плачутъ...

— Когда папаша умеръ, вы домикъ продали?

---

*) Ногами и каблуками.

— Нѣтъ, не сейчасъ. Намъ еще изъ казны денегъ выдали, а потомъ красивая такая барыня, съ хорошей муфтой, встрѣтила мамашу и меня, и сестру Таньку, разжалобилась и — дай ей Богъ многія лѣта! — въ газетахъ росписала о нашемъ несчастьи. Господа стали жертвовать и прожертвовали больше сотни рублей. Но только мамаша все пропили.

— Ну, а потомъ?

— А потомъ мамаша видятъ, что мы уже ростемъ, сказали: »Пора учить Дуньку и Таньку«. И отдали насъ въ ученье. Таньку къ модисткѣ на Крещатикъ, а меня на Подолъ въ корсетное заведеніе, къ мадамѣ. Напринималась я муки дома, а тутъ думала, духъ изъ меня выскочитъ! Мадама толстая и сердитая. Сейчасъ изъ подъ передника вытащитъ ремешекъ, этакой плоской на концѣ, прикажетъ дѣвушкамъ держать и какъ начнетъ ляскать! Потому что

она любила, чтобъ все было акуратно. Какъ крикнетъ: »Мизерабль«!—такъ мы и трясемся. И ту плетку мизерабкой между собой прозвали. Комнаты у мадамы были маленькія, а дѣвушекъ много. Но тихо было, такъ что слышно, какъ муха пролетитъ. Ни пѣть, ни разговаривать громко нельзя. Сейчасъ: „Кушъ, канайль!“ А мнѣ ужъ четырнадцать лѣтъ сполнилось, и мнѣ стыдно было, что меня сѣкутъ. Меня мамаша хоть били, а только никогда не сѣкли. Работала я добросовѣстно и — хоть грѣхъ сказать — водила насъ мадама чисто, какъ барышенъ, и бѣлье чистенькое, и платьице шерстяное—да и кормила, нельзя сказать, чтобъ скупо — а только роптала я и Богу молилась, какъ-бы онъ избавилъ меня отъ этой каторги. Вотъ разъ вшила я пружинку, да не въ тотъ ластикъ, а она, натурально: »Мизерабль«! Сцѣпила я зубы, дѣвушки молчатъ, вся я по-

холодѣла. Только въ тотъ день работы было много и думала я, что мадама забудетъ на меня. Нѣтъ, гадюка, стала наказывать Соньку, про меня вспомнила. Ну, тутъ на меня звѣрство нашло, стала я кричать, ругать ее скверными словами и, наконецъ того, палецъ ей прокусила...

При воспоминаніи объ этомъ, Дунька разсмѣялась и даже точно захлебнулась отъ восторга.

— На-сквозь прокусила! Кровь у нея такъ и побѣжала! Она: »Полицъ! Полицъ! Онъ мекразъ«!, да въ обморокъ. А я не будь дура—вижу, старшія хотятъ запирать меня въ чуланъ—драла! Иду по улицѣ, ногъ подъ собой не слышу. Только лавочникъ, гдѣ прикладъ мы брали, встрѣлъ меня и говоритъ: »Куда вы, говоритъ, барышня, безъ платочка и безъ шляпочки«? Я спужалась, а онъ такъ

ласково: »Заходите, говоритъ, барышня, комнѣ въ лавку, тамъ комнатка на чердакѣ есть. Я человѣкъ женатый, дурного вамъ не сдѣлаю. И окромѣ того, никто васъ не увидитъ. Перебудете у меня часокъ, и назадъ пойдете въ шляпочкѣ«. Мнѣ раздумывать некогда было, я за нимъ, дура, пошла. »Что-жъ, думаю, пускай шляпку дастъ!« Вошли въ лавку, прикащики на меня этакъ сурьезно посмотрѣли и хозяину поклонились. Иду я дурепа дурепой, и какъ пришли на верхъ, то онъ спрашиваетъ: «Окромѣ шляпочки, чего-бъ вы, барышня, еще хотѣли?« »Пить«, отвѣчаю. Онъ въ ладоши похлопалъ, приказалъ лимонаду и коньяку принести. Все нутро у меня жгло, губы горѣли, и какъ припалась я, то вдругъ три стакана лимонаду выпила, а въ каждый стаканъ онъ коньяку подливалъ. Тутъ всего я рѣшилась. Память отшибло. А

какъ очнулась я, то вижу, что темно уже, фонари горятъ, и иду я по Владимірской, въ шляпкѣ и перчаткахъ. Пощупала въ карманѣ—бумажка лежитъ. Опять мнѣ пить захотѣлось и маменьку повидать. Думала, солгу ей, будто мадама отпустила меня и будто мнѣ нездоровится. Взяла извозчика—пріѣзжаю на Соломенку, а тамъ маменька лежатъ на столѣ. Вотъ вамъ.

Она замолчала.

— И что-жъ! продолжала она. Если-бъ насъ съ Танькой учили лучше, изъ насъ люди вышли-бы. И молоденькія, и лицомъ ничего себѣ. А мы отъ дѣла отбились, по садамъ шляемся. Я страсть, какъ водку люблю. Я запойщица. Я и по заведеніямъ пробовала жить. Не держатъ, оттого, что ужъ совсѣмъ свиньей дѣлаюсь. Въ ротъ мертвецу копѣйку клали и затѣмъ въ водкѣ полоскали и той водкой

меня поили — не помогаетъ! Левинсониха, что заведеніе содержитъ, говорила: »Тебѣ цѣны не было бы, если-бъ ты не пила, а такъ, ты должна пропадать — ты еще убьешь, напившись, чортъ съ тобой!« Вотъ какая я, баринъ! Пропащая!

Она слегка вздохнула. Но по наружности ея нельзя было заключить, чтобъ она была глубоко огорчена своей судьбой.

— И давно вы пьете?

— Да вотъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ пить тогда въ лавкѣ захотѣлось. Не постоянно пью — Боже сохрани, — а временами. Но только, говорятъ, это хуже!

Она задумалась.

— Я этого такъ боюсь! Что страму мнѣ тогда, глумятся надо мной, издѣваются! Я-бъ вамъ сказала еще, за что ме-

ня Плѣшивой прозвали, да мнѣ совѣстно...

Она густо покраснѣла.

— Нѣтъ, ужъ, не говорите, если совѣстно. Да это, можетъ быть, и не интересно.

Она сидѣла, потупившись. Карандашъ бѣгалъ по бумагѣ и странная тяжелая тишина повисла надъ садомъ. Воздухъ дремалъ, распаленный жгучимъ полуденнымъ солнцемъ. Я тщательно выписалъ портретъ бѣдной Дуньки, и когда я уходилъ изъ сада, мнѣ все казалось, что эти старыя деревья, насмотрѣвшіяся на своемъ вѣку на всякія безобразія и всякіе ужасы, тронуты жалкой долей погибшей дѣвочки и вслѣдъ за нею участливо и грустно шепчутъ:

— Пропащая! Пропащая!

Май, 1884.

БИБЛІОТЕКА
А.Н.ВЕДЕРОВА
САМ

ОПЯТЬ ПЕТЬКА ГОЛЫЙ.

По временамъ, на босяковъ Царскаго сада чины полиціи производятъ правильныя облавы. Босяки ютятся по густо и дико заросшимъ склонамъ серединной котловины сада, гдѣ ростутъ фруктовыя деревья, ютятся въ расщелинахъ приднѣпровскихъ бугровъ, зеленѣющихъ шиповникомъ и другими раскидистыми кустарниками, вплоть до Выдубецкихъ прибрежныхъ зарослей, и далѣе, подвигаясь лѣтомъ къ Китаеву. По крайней мѣрѣ, въ тамошнемъ лаврскомъ лѣсу я встрѣтилъ недавно Петьку Голаго. Онъ былъ пьянъ,

но узналъ меня, снялъ картузъ и, держа его на отлетѣ, проговорилъ:

— Господину фотографу наше пріятное почтеніе!

Онъ былъ въ длинномъ армякѣ и напоминалъ теперь своею фигурою послушника.

— Ты чего здѣсь?

— А на дачѣ-съ. Въ городѣ лѣтній духъ пошелъ и такъ какъ многіе господа въ деревню выѣхали, то и я съ ними. Не соблаговолите-ли прожертвовать мѣднаго пятака бѣдному страннику?

Производя облаву, полиціи удается захватить душъ пятнадцать, двадцать. Не могу съ точностью ничего сказать, что съ ними дѣлаетъ она, но полагаю, что мѣра эта совершенно безполезна. Босяковъ въ Кіевѣ сотни и даже тысячи. Больше на пятнадцать душъ или меньше этихъ босяковъ въ данный моментъ — рѣшительно

все едино. Безпрерывно общество выдѣляетъ изъ себя извѣстный процентъ босяковъ, все равно, какъ организмъ, если онъ боленъ, выдѣляетъ гной и покрывается язвами и струпьями. Внутренняго леченія ни одинъ современный соціологъ не въ состояніи прописать, и даже ни одинъ законодатель. Остаются наружныя средства, которыя на офиціальномъ языкѣ носятъ названіе »мѣръ« и »заботъ« (объ »общественной безопасности«, »благочиніи« и пр.). Полиція можетъ быть уподоблена въ этомъ случаѣ тому врачу, который, снимая гной съ одного участка язвы, оставляетъ на произволъ судьбы другіе участки. Мало этого: снявъ крошечную частицу гноя и подержавъ ее нѣкоторое время на кончикѣ скальпеля, врачъ, не зная, куда дѣть вредную матерію и что дѣлать съ нею, опять кладетъ ее на прежнее мѣсто. Говорится

это не въ осужденіе полиціи, разумѣется; мы констатируемъ только фактъ. Полиція безсильна по отношенію къ босякамъ и нельзя требовать отънея невозможнаго. Водворенный на мѣсто жительства, босякъ сейчасъ-же возвращается туда, куда „влечетъ его невѣдомая сила“. Босякъ живетъ въ Ростовѣ-на-Дону и, когда тамъ безкормица, или когда онъ захочетъ „поклониться святымъ мѣстамъ“, ему нипочемъ пробраться въ Кіевъ. Онъ и въ Екатеринославѣ, и въ Одессѣ, и въ Черниговѣ— всюду онъ у себя дома. Въ этой бродячей жизни, исполненной приключеній и, главное, въ этомъ праздношатаніи для босяка есть что-то притягательное, очаровательное. Въ Ростовѣ-на-Дону онъ прячется отъ полиціи на кладбищѣ, въ „фамильныхъ“ склепахъ мѣстныхъ хлѣботорговцевъ, въ Кіевѣ — въ расщелинахъ и провальяхъ приднѣпровскихъ горъ. Да

едва-ли даже есть возможность водворить куда-нибудь босяка. Подержать, подержать и выпустять. Что съ нимъ, въ самомъ дѣлѣ, возиться!

На босяковъ многіе смотрятъ, какъ на воровъ и злодѣевъ. Конечно, всѣ они воришки. Но на крупную самостоятельную кражу босякъ неспособенъ. Онъ лѣнивъ и трусливъ. Онъ въ воровскомъ дѣлѣ можетъ исполнять только второстепенную роль—стражника, шпіона. Настоящій воръ презираетъ босяка. Онъ, болѣе или менѣе, хорошо обставленъ, имѣетъ квартиру, семью, одѣтъ, водитъ хлѣбъ-соль съ людьми. Босякъ—отверженное существо и, по странному свойству человѣческой натуры, гордится этимъ и, во всякомъ случаѣ, не стыдится своего босяцкаго состоянія. Если вора и грабителя можно сравнить съ волкомъ, то босяка—съ гіеной.

— Во время общественной смуты, сказалъ мнѣ въ видѣ предположенія одинъ писатель-публицистъ, эти ваши „типы Царскаго сада“ могутъ сыграть ужасную роль...

Но и это ошибочно. Босякъ безсиленъ и ничтоженъ. Вотъ разсказъ Петьки Голаго о томъ, какъ онъ участвовалъ въ еврейскомъ погромѣ на Деміевкѣ. Ужь на что, кажется, лучшей смуты!

— ... Сейчасъ это, Боже мой, сколько народу привалило! Откуда ни возьмись—кацапура́ лупитъ. Народу тысячи двѣ было—вотъ сколько! Сейчасъ, значитъ, стражу поставили—гляди въ оба, чтобъ войска не настигнули, а сами между прочимъ, тихимъ манеромъ, тихимъ манеромъ, на складъ Рабиновича кинулись и въ одинъ секундъ бочки выкатили, дна выбили—водки, я вамъ скажу, пошло даже невѣроятно много! Точно, я

вамъ скажу, ужасный этакой дождь пошелъ и лужи тебѣ насыпало — хлебай сколько влезетъ, хоть топись! Надрызгались наши всласть, а жиды и жидовки навзрыдъ рыдаютъ — въ однѣхъ рубашкахъ, какъ Адамы, по улицамъ бѣгаютъ. Ай, тателе, ай, вей! Что смѣху было! Рожу ему скорчишь — изъ него и духъ вонъ, притаился, ни живъ, ни мертвъ. Только вижу я, что пухъ, какъ снѣгъ, изъ оконъ такъ и летитъ. Ей-Богу, думалъ сначала дымъ! Кацапура́ кричитъ: „Не робѣй, ребята! не жалѣй“! Добра на улицахъ сколько — Боже мой! Что, думаю, зѣвать — поднялъ, глядь: намисто еврейское. Только дуракъ былъ, въ карманъ не положилъ. Подержалъ и тутъ-же бросилъ. Глядь — пальта, чудесныя пальта, штукъ пять, изъ лавки, и красный товаръ разный. Сталъ собирать, надѣлъ одно пальто, надѣлъ другое, надѣлъ

штаники, тоже парочку одну и другую, а затѣмъ опять дуракомъ себя почувствовалъ и бросилъ. Думаю — пойду нашимъ помогать, все-же я христіанская душа. Глянулъ — содомъ, потѣха, гулъ, стукъ, ничего разобрать нельзя! Понапивались кругомъ, шатаются, кричатъ! Дѣти голыя, женщины! Мнѣ и смѣшно, и страшно стало. Схватилъ я мыла, этакъ кусокъ порядочный... фунтовъ десять... Почемъ мыло теперь? вдругъ перебилъ онъ себя.

— Не знаю...

— И я не знаю... А должно быть копѣекъ по двадцати. Не меньше того! Схватилъ это я мыло и драла. Бѣгу — сами ноги несутъ. Бѣгу, ажъ тяжело мнѣ, ажъ духъ захватываетъ. И самъ не понимаю, чего я бѣгу, и теперь даже удивляюсь. Вотъ ужь Деміевка кончается. Пуху всюду, Боже мой, сколько! Увидали меня двѣ евреечки и

себѣ давай бѣжать. Бѣгутъ и кричатъ: „Ай, ай“! Но никто на насъ вниманія не можетъ обращать. Всѣ въ суматохѣ и страхѣ. Раза два я споткнулся на стулья, на горшокъ съ цвѣтами, разъ запутался въ цѣпкѣ отъ часовъ. Бѣжимъ и бѣжимъ. Одной евреечкѣ лѣтъ пятнадцать, а другая и того моложе. Только это я ужъ потомъ разобралъ. Прибѣжали на поле, съ поля повернули налѣво, бухъ въ оврагъ, да тамъ и застряли — потому грязь. Давай онѣ карабкаться, а я вижу, что лафа — къ нимъ. Страхъ мой увдругъ прошелъ. Отведу, думаю, душу. Держу мыло въ рукахъ и гляжу на евреечекъ. Дрожатъ онѣ, побѣлѣли. Говорить я не могу, оттого, что дыханіе зашлось. Плечики у нихъ тоненькія, косы длинныя — даже очень соблазнительно. Знаками показалъ имъ — такъ молъ и такъ, а онѣ въ ревъ. Ну тогда я опять испугался, сцапалъ

меньшенькую, свихнулъ ей пальчикъ со страху, да и былъ таковъ. Но какъ назадъ изъ оврага карабкался, то мыло уронилъ, и какъ вспомню, то весьма сожалѣю объ немъ. Ничѣмъ, вотъ ровно-же ничѣмъ не поживился я тогда!

Онъ задумчиво сталъ смотрѣть вдаль, можетъ быть высчитывая, сколько стоило мыло, а можетъ быть чувствуя странное платоническое влеченіе къ нему. Онъ былъ дикарь, и хоть легко видѣть, но трудно понять процесъ дикой души.

Іюнь, 1884.

ТАНЬКА ЦЫГАНОЧКА.

Цыганочкой Танька прозвана за свой смуглый цвѣтъ лица. Ея молодые глаза смотрятъ на все изъ подъ черныхъ пушистыхъ рѣсницъ, точно два уголька; и когда она отвѣчаетъ вамъ, она держится одной рукой за дерево, а голой ногой, загорѣлой и почернѣвшей, описываетъ по землѣ полукругъ. Иногда она закладываетъ ее подъ икру другой ноги, и тогда напоминаетъ собою маленькую нахохлившуюся цаплю. У цапли на затылкѣ висятъ перья; у Таньки ихъ замѣняютъ концы грязнаго, омерзительно грязнаго платка. И вся Танька, съ ногъ до головы, за исключе-

ніемъ своего хорошенькаго цыганскаго личика, производитъ такое-же омерзительное впечатлѣніе. Она сморкается въ подолъ платья, которое давно ужъ превратилось въ лохмотья, пропитанныя грязью. За пазуху она спрячетъ булку, селедку, деньги, что подвернется подъ руку. Грудь у ней постоянно оттопыривается съ одной стороны. Ваточная кацавейка сидитъ на ней мѣшкомъ и не надо быть особенно зоркимъ, чтобъ увидѣть на этой мало граціозной одеждѣ миріады крошечныхъ, медленно двигающихся существъ. По временамъ, Танька ловитъ ихъ, кладетъ на ладонь и пристально наблюдаетъ, какое изъ нихъ ползетъ быстрѣе. Успѣхъ одного изъ нихъ въ этихъ импровизованныхъ рысистыхъ бѣгахъ вызываетъ у ней задушевный смѣхъ, который, какъ серебро, звенитъ по саду.

Танькѣ всего лѣтъ 15, хотя на видъ

гораздо меньше. У ней тонкія руки, тонкія ноги, узкія плечи, она совсѣмъ ребенокъ. Черные, какъ смоль, сбитые, какъ войлокъ, волоса ея плоскими толстыми прядями лѣзутъ изъ подъ платка на лобъ, на глаза. Это раздражаетъ ее; она вдругъ выходитъ изъ себя, хватается за волосы, страшно теребитъ ихъ, проклинаетъ и, наконецъ, втискиваетъ непокорныя змѣи-косы подъ платокъ, который трещитъ при этой операціи. Причесывать свои волосы она и не думаетъ и даже самая мысль о гребешкѣ едвали приходитъ ей на умъ.

Воспитаніе Танька получила на Крещатикѣ, въ одной швейной мастерской, куда была отдана по двѣнадцатому году. Она помнитъ, что тамъ сначала было ужасно скучно, но не лѣтомъ, когда работы было мало. Мадамъ уѣзжала въ Боярку или на Трухановъ островъ, а

мастерицы принимали у себя прикащиковъ, офицеровъ, студентовъ. Кромѣ того, каждый день онѣ пользовались правомъ выходить на улицу и гулять въ извѣстный часъ. Въ этотъ короткій часъ завязывались у нихъ романы, которые были также скоротечны. Сколько было прогулокъ, столько было романовъ. Когда ученицамъ кончался срокъ ученья, то весьма немногія рѣшались продолжать мастерство, такъ какъ жалованье давалось имъ самое крошечное, такое, на которое честнымъ манеромъ нельзя прожить, не голодая. Тѣ, которыя покрасивѣе, отправлялись въ Шато и тамъ находили необходимые жизненные ресурсы. Тѣ, которыя были помоложе и, слѣдовательно, безхарактернѣе, переходили въ заведенія другого рода. Эти бѣдныя созданія, обыкновенно, были добродѣтельнѣе своихъ товарокъ, но неопытнѣе, онѣ не прошли предварительнаго

курса разврата, и когда очутились на волѣ, то оказались неподготовленными къ житейской борьбѣ, и оттого сразу попали въ такую обстановку, которой долго избѣгаютъ самыя послѣднія изъ послѣднихъ. Швейная мастерская успѣла заглушить въ ихъ молодомъ сердцѣ зародыши женской добродѣтели, но и сѣмена разврата не проросли въ ихъ душѣ. Гибель для нихъ, обезоруженныхъ и робкихъ, неизбѣжна.

Танька долго была на побѣгушкахъ у хозяйки, у старшихъ ученицъ, у мастерицъ. Она бѣгала въ лавочку за шелкомъ, за нитками, за пуговками, бѣгала въ булочную купить ватрушку для мадаминой дочки, бѣгала на Крещатикъ съ записочками, въ которыхъ ученицы безграмотными каракулями извѣщали своихъ случайныхъ обожателей о томъ, гдѣ и когда можно повидаться съ ними. Когда въ

отсутствіе хозяйки и ея дочки, въ мастерскую, подъ предлогомъ заказа бѣлья, забирался молодой человѣкъ, большей частью, съ истасканнымъ лицомъ, циничной улыбкой и жиденькимъ бумажникомъ, и кричалъ, что не любитъ терять золотого времени, Танька становилась на стражѣ у дверей и однимъ глазомъ смотрѣла на лѣстницу, а другимъ въ комнату. Вмѣстѣ съ младшими ученицами и такими-же подростками, какъ она сама, она дѣлалась свидѣтельницей разныхъ грязныхъ сценъ, разжигавшихъ и растлѣвавшихъ ее. Потомъ, когда она стала немного старше, ученицы, уходившія гулять, брали ее съ собой „за компанію“, потому-что „вдвоемъ не такъ страшно.“ И опять чего не приходилось ей видѣть! Частенько мадамъ и ея дочка, ворчливое горбатое существо, били и драли Таньку. Она была вороватая, дрянная дѣвочка.

Она научилась безсовѣстно лгать, клялась отцомъ и матерью, цѣловала полъ въ доказательство своей невинности и все-таки была виновата. Она стала замѣчать, что мужчины, не обращавшіе на нее прежде никакого вниманія, начали какъ-то особенно поглядывать на нее. Она „задрала носъ“, стала грубить хозяйкѣ, взяла новое платье, которое шили въ мастерской на срокъ, и вмѣсто того, чтобъ отнести по назначенію, продала на толкучкѣ за три рубля, купила конфектъ и, придя, легла спать, жалуясь на головную боль. Думали, что она простудилась, а она тѣмъ временемъ тихонько грызла конфекты, пока всего не съѣла. Желудокъ выдержалъ это пиршество. Но на другой день обнаружилось воровское дѣло Таньки. Танька клялась, плакала, цѣловала ноги хозяйкѣ, цѣловала полъ. Ее стали сѣчь. Она такъ ужасно кричала,

такимъ раздирающимъ голосомъ, что мадамъ еще пуще разозлилась и уже придумывала, чѣмъ-бы усугубить страданія „проклятой“ Таньки, ужъ не полить-ли ее водкой, не посыпать-ли солью, какъ вдругъ дверь съ трескомъ растворилась. Вбѣжали—какой-то молодой человѣкъ, двѣ дѣвушки и старикъ. У нихъ были блѣдныя лица, горящіе негодованіемъ глаза. Мадамъ узнала въ нихъ жильцовъ, занимавшихъ подъ ея квартирой бельэтажъ. Это были пріѣзжіе англійскіе комерсанты. Моментально Танька была освобождена, мадамъ получила отъ одной миссъ ужаснѣйшій толчекъ, а мистеръ и его сынъ послали за полиціей, причемъ довольно чисто говорили по русски. Другая миссъ гладила плачущую Таньку по волосамъ. Пришли полицейскіе, составили протоколъ и вскорѣ мадамъ должна была фигурировать на судѣ по обвиненію въ

истязаніи Таньки. Мадамъ была оправдана, и ей былъ сдѣланъ только выговоръ, а Танька, которую мадамъ послѣ протокола тоже притянула къ суду, была присуждена къ мѣсячному тюремному заключенію.

Такъ закончилось воспитаніе Таньки.

Въ Царскомъ саду, типами котораго я наполнилъ цѣлый альбомъ, я не встрѣчалъ болѣе циничнаго и распущеннаго созданія, чѣмъ эта дѣвочка. Она безпрестанно, кстати и некстати, бранилась, какъ »сорокъ тысячъ« извощиковъ.

— Меня никто не можетъ переругать, наивно хвастается она, чертя ногой полукругъ по землѣ. Я какъ заведусь, какъ заведусь, то даже мужчины притихнутъ— я всѣхъ переговорю... Они мнѣ слово, а я имъ двадцать.

— Бѣдовая у насъ Цыганочка! говорятъ босяки, любовно поглядывая на Таньку.

И откудова она такая взялась! Вѣрно, какъ рожала ее мать, то злая сучка лаяла.

— Безъ того, братцы, не обошлось. А вѣрнѣй, что клопъ ее въ ту пору... началъ соображать какой-то босякъ.

— Замололъ—въ глотку тебѣ колъ, глупый оселъ! перебивая его, въ рифму ругается Танька и вызываетъ ропотъ одобренія. Самъ ты клопъ... дрянь, болванъ... Ахъ, скажите, какой остолопъ!!... заключаетъ она и, отбѣжавъ на приличное разстояніе, присѣдаетъ и звонко хохочетъ.

Когда я попросилъ Таньку посидѣть и пообѣщалъ ей за это заплатить, она предварительно посовѣтовалась съ безобразной старухой, которая долго ей что-то шептала.

Она все время сидѣла на косогорѣ, въ профиль, и грызла сѣмечки. Грудь у ней оттопыривалась особенно высоко и

по временамъ она била по этой возвышенности ладонью и напѣвала:

— Ай! Ай! Бай-бай!

Потомъ взглядъ ея лукаво обнималъ меня и мой альбомъ; сверканіе желтоватаго выпуклаго бѣлка подъ длиннымъ шелкомъ рѣсницы дѣйствовало на меня непріятно. Я чувствовалъ, что имѣю дѣло съ чѣмъ-то ужасно испорченнымъ, безнадежно погибшимъ, растоптаннымъ, истерзаннымъ, изуродованнымъ, но живымъ. Мало этого—я видѣлъ въ этой Танькѣ воплощеніе грѣха, въ которомъ мы всѣ повинны, и мнѣ стало стыдно. Конечно, большое утѣшеніе раздѣлять тяжесть вины съ какимъ-нибудь милліономъ людей, если не больше. Въ томъ, что Танька въ 15 лѣтъ сидитъ не на школьной скамьѣ, чистой и непорочной голубкой, а нравственно и физически гніетъ здѣсь, ползая въ этой клоакѣ разврата, виноватъ я,

разумѣется, ужасно мало. Въ самомъ дѣлѣ, какая это вина—милліонная доля вины! Если-бъ, напр., за эту вину, во всемъ ея составѣ, полагалась безсрочная каторга, то за милліонную долю ея слѣдуетъ и наказаніе соразмѣрное; и если-бъ стали судить меня, то присудили-бы къ какой-нибудь секундѣ каторги. Однако-же, пока я рисовалъ Таньку и соображалъ это, мнѣ было неловко, и лукавый взглядъ ея, въ которомъ было море безстыдства, просто злилъ меня. Онъ, точно острый ножъ, входилъ мнѣ въ сердце и будилъ самыя нелѣпыя, съ житейской точки зрѣнія, угрызенія совѣсти.

— Ай! Ай! Бай, милая, бай-бай! напѣвала Танька.

Я вдругъ во всѣ глаза посмотрѣлъ на Таньку.

— Откуда у тебя ребенокъ?

— Это мой...

— Твой?

— А тожь! Привела *) дитинку...

— Что-то ужъ очень малъ твой ребенокъ...

— Вчера привела, отвѣчала она съ хохотомъ. Еще не успѣло вырости...

И снова, какъ колокольчикъ, зазвѣнѣлъ ея смѣхъ.

Этотъ »ребенокъ« оказался куклой. Куклу Танька нашла въ саду; вѣрнѣе-же, стащила у дѣтей, которыхъ приводятъ сюда гулять. У куклы были льняные волосы, шелковое розовое платье, обшитое золотой бахромкой, крошечныя сережки. Вынувъ изъ-за пазухи, Танька стала крѣпко цѣловать ее, провела ее за руку по травѣ, велѣла ей поклониться мнѣ. Съ необычайною нѣжностью относилась она къ этой куклѣ и называла ее

*) Родила.

Лександриною. Она сама кланялась въ отвѣтъ на поклоны Лександрины и воздерживалась, въ присутствіи ея, отъ употребленія скверныхъ словъ.

— Она барышня, она сейчасъ покраснѣетъ и скажетъ: »Фуй!« объясняла Танька свое приличное поведеніе.

— Ночью она ходитъ гулять, говорила Танька, дѣлая серьезное лицо. Я сегодня сплю возлѣ тети Мавры, глядь, а Лександрина нишкомъ *) встала, одѣлась и пошла... Идетъ подъ липами, надъ кручей, и все плачетъ, и свои ручки ломаетъ. Мнѣ ужасъ какъ страшно стало, и я съ головой накрылась. А какъ въ другой разъ посмотрѣла, то уже Лександрина пришла и на свое мѣсто положилась, да такъ важко вздыхаетъ, что и я заплакала. И вотъ, Ей-Богу-же, нащупала я рукой лицо ея, а оно мокрое—мокрое отъ слезъ.

*) Тайкомъ.

А о чемъ она плакала—я вамъ того сказать не могу, оттого, что и сама незнаю.

— Танька, м—ди сюда! М—скорѣй! хрипло и въ носъ произнесла старуха, показываясь изъ кустовъ. М— солдатики идутъ!

Танька вскочила, зорко глянула вокругъ. Я никакъ не могъ увидѣть „солдатиковъ“, но она ужъ ихъ разглядѣла. Сунувъ куклу за пазуху, она побѣжала на встрѣчу къ нимъ и по дорогѣ крикнула мнѣ со смѣхомъ:

— Это она обо мнѣ плакала!

Іюнь, 1884.

ОТСТАВНОЙ ПОРТУПЕЙ-ЮНКЕРЪ.

— Господинъ... если не ошибаюсь, господинъ художникъ! Мнѣ очень пріятно представиться вамъ... Честь имѣю именоваться — отставной портупей-юнкеръ Вадимъ Кочерга... Чаялъ быть генераломъ, а между-тѣмъ что вышло!... Въ какомъ безподобномъ состояніи! Прошу извинить. По платью встрѣчаютъ—по уму провожаютъ. Вижу, г. художникъ, колеблетесь, не знаете, подать-ли руку сей презрѣнной твари, или хладнокровно молвить ему: „Проваливай, братецъ, нѣтъ мелкихъ“. О, сколько разъ слышалъ я сію горестную отповѣдь!... И

такъ, что-же вы? Удивлены? Не ожидали? Отставной портупей-юнкеръ, Вадимъ Кочерга, питавшій нѣкогда блестящія надежды и оныя подававшій, герой, проливавшій благородную кровь свою за глупыхъ братушекъ, видавшій виды и пресытившійся жизнью бельомъ, побѣдитель гордыхъ красавицъ и соблазнитель деревенскихъ дуръ, человѣкъ, которому было тѣсно во вселенной, кромѣ шутокъ, и что-же?—нищій, „босакъ“, который пугаетъ своимъ видомъ дамъ и даже горничныхъ, голодное и жалкое существо, l'homme qui rit, однимъ словомъ! И это все, замѣтьте, въ какихъ нибудь пять лѣтъ! Удивлены? Не вѣрите? Хотите знать причину? Cherchez la femme, monsieur!

Онъ грузно опустился на траву и смотрѣлъ на меня, поддерживая обѣими руками голову и прищуривъ одинъ глазъ.

Лицо его, желтое и обрюзглое, было необыкновенно нагло, манеры были самоувѣренныя, рѣшительныя. Я молчалъ—по возможности вѣжливо.

— Г. художникъ, вижу, я васъ начинаю интересовать. Признаюсь, люблю потолковать съ умнымъ человѣкомъ. Я, разумѣется, не обижаюсь на васъ за то, что вы не протянули мнѣ руки. Пять лѣтъ тому назадъ, я не протянулъ-бы руки вамъ—по глупой гордости, такъ какъ я изъ себя барина корчилъ.. Мы поэтому квиты. Но только вы мнѣ очень и даже очень симпатичны... Ого! Какія слова „босакъ“ говоритъ! Удивлены небось? Я давно наблюдаю васъ. Вижу, ходитъ человѣкъ съ альбомомъ и все рисуетъ моихъ товарищей и товарокъ по несчастью... или, лучше сказать, по положенію... Такъ какъ быть босякомъ—c'est une position... Неправдали, и это васъ поражаетъ? Et

vous—parlez vous le francais? Что касается меня, то до сихъ поръ для меня это родной языкъ .. Хотите, я цѣлый часъ буду говорить по французски? Ну, хорошо, все равно, буду говорить по русски. Я только хотѣлъ вамъ показать, каковъ я есьмь человѣкъ... Что я не то, что тамъ Петька Голый какой-нибудь! Итакъ, ходите вы съ альбомомъ, и вижу—пальто на васъ недорогое, купленное въ магазинѣ, а не заказное... Неправда, отгадалъ? Я это все понимаю и глазъ у меня вѣрный. А ежели пальто дешевое, да еще на художникѣ, то ужъ человѣкъ, навѣрно, порядочный. Каковъ демократъ Вадимъ Кочерга! Думаю, при случаѣ, двугривеннаго, а не то и пятдесятъ копѣекъ взаймы дастъ! Вѣдь, дадите? Вѣдь, согласитесь, что я не ошибся и одаренъ нѣкоторымъ даромъ предвидѣнія? Скажу вамъ больше: вотъ въ этомъ самомъ карманчикѣ ле-

житъ у васъ мелочь, спеціально назначенная для раздачи босякамъ, такъ, приблизительно, копѣекъ сорокъ. И, наконецъ, читаю въ сердцѣ вашемъ слѣдующее: „А чортъ съ нимъ, дамъ ему эти сорокъ копѣекъ, да кстати и нарисую его“... Ради Бога, не ставьте меня въ неловкое положеніе, скажите: угадалъ-ли я?

— Пожалуй, угадали, съ тою только разницею, что я вамъ намѣренъ предложить двадцать копѣекъ.

— Помилуйте, это будетъ эксплоатація! Я рѣдкій типъ, не на каждомъ шагу встрѣтите Вадима Кочергу! Я сынъ статскаго совѣтника, я прожилъ на своемъ вѣку ровно сто тысячъ! Собразите все это, mon cher... А впрочемъ, пользуйтесь. Двадцать копѣекъ въ настоящее безвременье представляетъ для меня капиталъ. Соглашаюсь съ тѣмъ большей

охотой, что продолжаю не сомнѣваться въ благородствѣ вашего сердца: увѣренъ, что, узнавъ меня покороче, вы не пожалѣете всей вашей мелочи. Ибо что такое мелочь? Условный денежный знакъ, мѣдь звенящая. Воистину говорю вамъ, что этотъ самый босякъ, на котораго вы смотрите теперь съ такимъ недовѣріемъ и естественнымъ опасеніемъ на счетъ цѣлости вашего носоваго платка, бросалъ ямщикамъ по десяти рублей на водку. Да что! Однажды въ клубѣ двадцатипятирублевой бумажкой папиросу закурилъ!... Становой какъ увидѣлъ, такъ, знаете, за пылающую бумажку ухватился, въ ладони притушилъ, да ужъ поздно... Мнѣ въ настоящее время такія деньги кажутся Богъ знаетъ какими, а тогда я плевалъ на тысячи. Зато вокругъ меня люди жили, всѣ мною пользовались, наживались. Мой лакей теперь отличный

ресторанъ открылъ и на глаза меня не пускаетъ. Боится, скотъ, что я его скомпрометирую.

Онъ сухо засмѣялся и указалъ на свои „невыразимыя“, всѣ въ дырьяхъ, и на рубаху-косоворотку, надѣтую на манеръ блузы. Эта рубаха еле держалась, одно плечо было обнажено.

— Согласитесь сами, милостивый государь, что такая внѣшность должна дѣйствовать подавляющимъ образомъ на лакейское чувство. По вашему, какъ вы художникъ, въ моей фигурѣ бездна живописнаго, а лакей не видитъ въ ней ничего, кромѣ неприличнаго... У него теперь какой-нибудь прежній Вадимъ Кочерга на бильярдѣ играетъ или съ арфянками время проводитъ, и вдругъ, этакая фигура явится... Нельзя, нельзя, я это хорошо понимаю!

— И такъ, поручаю себя вашей гуманности, началъ онъ, помолчавъ и кивнувъ головой. А между тѣмъ, пока вы живописуете Вадима Кочергу въ его новомъ положеніи, позвольте дать исходъ моей словоохотливости и посвятить васъ въ тайны моего былого-прошлаго... Большое удовольствіе доставляетъ мнѣ, ежели я излагаю свои воспоминанія предъ развитымъ человѣкомъ. Здѣсь, среди этихъ босяковъ, хоть и можно встрѣтить золотое сердце, но нѣтъ истинно-просвѣщенныхъ людей... Скажу вамъ прежде всего, что ничуть не почту себя обиженнымъ, коль скоро вы предадите гласности мои словесные мемуары. Неоднократно былъ судимъ и оттого привыкъ не бояться гласности. Даже уважаю оную, а не токмо боюсь.

— Едва-ли слѣдуетъ упоминать, въ какомъ я нынѣ обрѣтаюсь положеніи. Ко-

стюмъ мой—вы его видите. На ногахъ—сапоги, правда, крѣпкіе, но въ такихъ-ли сапогахъ приличествуетъ ходить благородному человѣку? Мое занятіе—презрѣнное прозябаніе, червеподобное ползаніе, тогда какъ я родился парить орломъ. Не забылъ грамоту и иногда пишу просьбы убогому люду. Но по врожденному острословію и такъ-какъ я теперь l'homme qui rit, то просьбы мои выходятъ нарочито забавными и съ нѣкоторыхъ поръ потерялъ я и эти заработки. Пробовалъ писать серьозно—не могу, что подѣлаешь! Призваніе! Юмористическій талантъ! Въ родѣ какъ-бы Лейкинъ!

Онъ замолчалъ и улыбался, собираясь съ мыслями. Черные зубы его двумя рядами выглядывали изъ-за растянутыхъ блѣдныхъ и тонкихъ, какъ лезвіе ножа, губъ.

— Съ другой стороны, не думайте, чтобъ я особенно тяготился своимъ теперешнимъ position. Ничуть. Случилось это все постепенно. И когда лежишь подъ этакимъ деревомъ, глядишь въ синее небо, слушаешь, какъ рокочетъ городъ, то такъ легко становится на душѣ! Прежде я не понималъ, mon cher, Діогена, а теперь начинаю понимать старика. Я никому не долженъ, ибо и должнымъ быть не могу—такія у насъ права. А это большое удобство. У меня ничего нѣтъ, но и на все ваше я смотрю, какъ на непринадлежащее вамъ. И въ такой точкѣ зрѣнія есть тоже удобство. Напр., вы забыли на травѣ это пальто—шалишь, оно ужъ на моихъ плечахъ! Такое, повторяю, право, г. художникъ, обычное босяцкое право! Я отрѣзанный ломоть, такъ. Но сознаніе своей отрѣзанности отнюдь меня не огорчаетъ, а напротивъ

даетъ мнѣ утѣшеніе, которое я не иначе могу назвать, какъ философскимъ. Вамъ это непонятно, а между тѣмъ я, презрѣнная тварь, самъ съ презрѣніемъ гляжу на васъ и на весь родъ людской. Изъза чего суета жизни? Все прахомъ пойдетъ, вѣрьте мнѣ, г. художникъ. И ваши картины, и ваше писаніе, и ваша честность, и добродѣтель вашихъ женъ, и ваши идеалы—все это тлѣнъ и нуль. То-ли дѣло, облегченный, елико возможно, имѣя за собою десять лѣтъ сладкой жизни и горькаго опыта, иду я, нищій тѣломъ, но богатый духомъ, по тропамъ Царскаго сада, безпечно смотрю всѣмъ въ глаза, ничего не стыжусь, надъ всѣмъ возношусь! Я царь, я рабъ, я червь, я богъ... Да-съ, неимѣть обязанностей, никакихъ, нималѣйшихъ, ни общественныхъ, ни имущественныхъ, ни семейныхъ, да это блаженство! Ну, а права остаются.

— Пальто при случаѣ...

— Пальто при случаѣ, если плохо лежитъ, возьму, это вы вѣрно.

Онъ сдѣлалъ паузу и старался придать своему лицу самое саркастическое выраженіе. Потомъ глаза его сверкнули, онъ нахмурился и ударилъ себя кулакомъ въ грудь.

— Какъ, меня ограбили, а я пальта не могу взять! Я *вамъ* сто тысячъ бросилъ, а вы меня въ тюрьму садите, если я ничтожную вещь возьму у васъ! Есть Богъ и онъ разсудитъ насъ!

Онъ трагическимъ жестомъ указалъ на небо. Я попросилъ его сидѣть спокойнѣе. Онъ мгновенно сталъ прежнимъ развязнымъ „бельомомъ“.

— Вы извините меня, mon cher, на меня по временамъ находитъ изступленіе, оттого, что чувство справедливости во мнѣ возмущается. Вижу, что сильно

уклонился въ сторону, и спѣшу перейти къ моимъ мемуарамъ. Предупреждаю, какъ я честный человѣкъ, что иногда я сильно присочиняю... Будто я генеральскій сынъ и до восемнадцати лѣтъ въ пансіонѣ благородныхъ дѣвицъ воспитывался, вмѣсто барышни... по особымъ соображеніямъ мамаши... Приэтомъ, разумѣется, накуралесилъ я будто-бы въ пансіонѣ уму-непостижимо. Ничего этого не было на самомъ дѣлѣ: родитель мой былъ совѣтникомъ губернскаго правленія и дралъ съ живого и съ мертваго, а въ благородномъ пансіонѣ я отродясь не бывалъ. Это ужъ такая босяцкая привычка фантазировать. Ежели солгу, то сейчасъ кашляну—вы по этому можете замѣтить, что я неправду говорю...

— Я воспитывался въ гимназіи и дошелъ только до четвертаго класса. Вмѣстѣ съ князькомъ Г. мы потомъ пять

лѣтъ въ видѣ футурусовъ при нѣжинскомъ лицеѣ окончательный экзаменъ держали. Но каждый разъ мы на первомъ же предметѣ проваливались и такъ съ горя напивались, что насъ холодной водой отливали. Наконецъ, князекъ поступилъ въ —скій полкъ, ну, и я съ нимъ, разумѣется. Побыли мы годъ въ полку—неинтересная жизнь, описывать не стоитъ. Черезъ годъ князекъ поѣхалъ и опредѣлился въ юнкерское училище, а я, вопреки волѣ родителей, отправился въ Сербію—воевать. Я тогда такъ разсуждалъ: сдѣлаюсь героемъ, прославлюсь, возьму штурмомъ крѣпость, велю распять десять тысячъ турокъ, плѣню самого султана... Вообще надежды были неумѣренныя. Вмѣсто-же всего, пришлось преглупо въ шанцахъ лежать по цѣлымъ днямъ и трусливѣйшимъ манеромъ отъ турокъ бѣгать. А наконецъ того, и со-

срамомъ изъ Сербіи уходить. Правда, что получилъ я таковскій крестъ (кх!—кхх!!), но утѣшеніе небольшое. Какъ разъ родитель мой въ это время скончался—царство ему небесное!—и оставилъ мнѣ ни мало, ни много, какъ сто тысячъ рублей. Дома я тоже перевелъ въ деньги и началъ, знаете, кутить. Опять поступилъ въ юнкера, опять сошелся съ князькомъ Г., который тѣмъ временемъ успѣлъ уже произойти въ офицеры. Я на этого князька молился и, хоть онъ былъ захудалый, но, какъ истый хамъ и крапивное сѣмя, благоговѣлъ передъ нимъ и все, чего онъ ни захочетъ, предоставлялъ ему. У меня самъ полковникъ обѣдывалъ, офицеры безъ сюртуковъ плясали и другъ друга шампанскимъ обливали. Сколько мы барышенъ въ городѣ развратили, и притомъ въ короткое время! Шло между тѣмъ дѣло къ войнѣ. »A la guerre com-

me à la guerre», говорилъ мнѣ полковникъ,—»какъ въ походъ выступимъ, то послѣ перваго-же дѣла мы васъ безъ экзамена къ первому чину представимъ«. Говоритъ и все у меня пируетъ. Та зима мнѣ тысячъ въ двадцать стала. Приходитъ разъ князекъ. «Другъ мой, дай пять тысячъ. Сестра пріѣхала, на-дняхъ овдовѣла... Ты понимаешь... Дѣла нашего дома запутаны... Надо помочь... Отдамъ послѣ войны«... На войну всѣ тогда сильно надѣялись и ей радовались... »Хорошо«, говорю. Онъ сейчасъ обнимать меня, цѣловать.» Пойдемъ, Кочерыжка (такъ онъ называлъ меня изъ интимности), пойдемъ, я представлю тебя сестрѣ«. А мнѣ, хаму, пріятно, эти слова—какъ масломъ по душѣ, я земли подъ собой не слышу. Идемъ. Сестра князька, мадамъ Оградова, въ гостинницѣ три номера заняла. Впустила насъ горничная,

которую князекъ въ передней подъ подбородкомъ пощекоталъ, и сказалъ: »Доложи, что я съ лучшимъ другомъ своимъ по важному дѣлу явился«. Ну, вотъ вошли, въ номерѣ ковры, накурено духами. Смотрю—дама въ черномъ, въ черныхъ кружевахъ, божество, а не женщина! Я такихъ никогда не видѣлъ. Лобъ у ней бѣлый, какъ молоко, брови дугами, рѣсницы и глаза большіе, какъ звѣзды, и носикъ пряменькій... Да нѣтъ, не могу я передать вамъ ея лица! А улыбка! Отъ одной улыбки все мое подлое нутро заиграло и отъ ямочекъ на щекахъ я сейчасъ-же въ свойственное моей природѣ рабье состояніе впалъ. Однимъ словомъ, влюбился я въ эту вдову.

Онъ замолчалъ и билъ травинкой по землѣ.

— Черезъ эту вдову вы и состояніе потеряли? спросилъ я.

— Черезъ нее. То-есть и черезъ нее, и не черезъ нее. Главнѣе всего, черезъ себя. Мнѣ хотѣлось ослѣпить ее, показать ей, что я Крезъ, и я вообразилъ, что могу купить ее. Отдалъ я князьку пять тысячъ, но онъ, не будь дуракъ, взялъ ихъ на свои надобности, а сестрѣ далъ только пятьсотъ рублей. Пошли наши въ походъ, а я увильнулъ — все ради Оградовой, чтобы никому безъ меня она не досталась. Князекъ самъ поручилъ мнѣ беречь ее и на дорогу взялъ у меня еще тысячу. Его подъ Никополемъ убили. Я и говорю Аннѣ Спиридоновнѣ: »Анна Спиридоновна, вы теперь однѣ на свѣтѣ... Неужели нѣтъ у васъ потребности въ дружбѣ? И развѣ вы не замѣчаете, что во мнѣ дѣлается?« Она усмѣхнулась и ничего не сказала. Черезъ мѣсяцъ, получивъ отъ нея записку, съ просьбой о деньгахъ, пришелъ я

къ ней и ужъ прямо поставилъ вопросъ. Такъ и такъ, я люблю васъ, будьте моей. А она такъ гордо посмотрѣла на меня, съ такимъ удивленіемъ, и деньги мнѣ возвратила. Взбѣсился я страшно и поклялся, что добьюсь своего. Хамъ, истинное крапивное сѣмя! Я довелъ ее до ужаснѣйшей бѣдности, а самъ тѣмъ временемъ неистово куралесилъ. Скупалъ ея счеты и обязательства. Вообще не давалъ ей жить. Взялъ ея горничную къ себѣ на содержаніе и каждый день, пьяный и развращенный, писалъ письма и отсылалъ ихъ съ нею Оградовой. Наконецъ, черезъ два уже года, когда она въ бонны къ купчихѣ поступила и я узналъ, что живется ей тамъ ухъ, какъ не сладко, предложилъ я ей десять тысячъ—все, что у меня оставалось!—за одну единственную ночь. Но и это подлое предложеніе отвергла она съ негодо-

ваніемъ. Тогда я съ ума сошелъ. Заплатилъ бородачамъ-лавочникамъ по тысячѣ рублей за то, чтобы связать ихъ бородами, лицомъ къ лицу, и такъ на улицу вытолкалъ, накормивши передъ тѣмъ рвотнымъ, велѣлъ фонарные столбы вездѣ опрокинуть, избилъ квартальнаго, спустилъ въ оврагъ домикъ съ погибшими созданіями и схватилъ бѣлую горячку... Все орломъ себя воображалъ... Когда я очнулся, то у меня ужъ ничего не было.

— Такъ вотъ она жизнь Вадима Кочерги, отставного портупей-юнкера! заключилъ онъ, вставая и получая отъ меня мелочь. Сравните ее съ жизнью, которую онъ теперь ведетъ, и скажите, какая лучше. Чувствительно благодарю васъ!

Іюнь, 1884.

СОРОКОНОЖКА.

Я собирался уѣзжать изъ Кіева. Чемоданъ былъ упакованъ, этюды, которые понужнѣе, свернуты въ трубку, кисти чисто-на-чисто вымыты, купленъ запасъ бумаги, карандашей, красокъ. До поѣзда оставалось нѣсколько часовъ.

Зачерчивая типы Царскаго сада, я и не замѣтилъ, какъ мало-по-малу эти типы овладѣли моимъ воображеніемъ, стали группой на фонѣ приднѣпровскихъ песковъ и садовъ и сложились въ одну цѣльную картину, которая съ нѣкоторыхъ поръ не даетъ мнѣ покоя и просится на большое эфектное полотно. Мнѣ до смерти хочется изо-

бразить этотъ странный народъ, этихъ цыганъ россійской цивилизаціи, парій, погрязшихъ въ невообразимыхъ и непроходимыхъ топяхъ порока, разврата, нищеты, ужасныхъ болѣзней и все-таки по временамъ проявляющихъ образъ Божій, „душу живу“, вызывающихъ въ непредубѣжденномъ наблюдателѣ и чувство искренняго сожалѣнія, и симпатію. Ужъ я обдумалъ и свою картину. Мнѣ мерещится трущоба Царскаго сада, дикая, пустынная, съ большими унылыми деревьями. Конецъ ноября или начало декабря. На голыхъ вѣтвяхъ лишь кое-гдѣ дрожитъ сухой листъ. Сѣрое, утреннее, изголубо-оловяное небо, вдали замерзшій Днѣпръ и на горизонтѣ, верстъ на десять въ глубину, синѣютъ лѣса, сливаясь, наконецъ, съ небесами. Тамъ и сямъ на рѣкѣ торчатъ мачты застывшихъ на мѣстѣ барокъ; направо, наискосокъ, блѣдно-лило-

вой сѣтью протянутъ мостъ. Снѣга еще мало и рѣка блеститъ мѣстами тусклымъ блескомъ плохо-отполированнаго стекла. На первомъ планѣ, на сухихъ травинкахъ, бѣлѣетъ сѣдой иней. Онъ покрываетъ всю землю. Таковъ мой фонъ. Сама картина заключается въ слѣдующемъ. На сырой землѣ, въ раккурсѣ (терпѣть не могу на полотнѣ горизонтальныхъ и вертикальныхъ линій), лежитъ мертвая дѣвушка въ лохмотьяхъ. Лицо у ней съ крупными чертами, нахмуренный лобъ; зрителя долженъ охватывать ужасъ при взглядѣ на эту фигуру. Это Машка, о которой мнѣ разсказывала Дворянская Дочь. Босяки стоятъ вокругъ. Вотъ здѣсь и сама Дворянская Дочь, въ кускахъ ваточнаго одѣяла, съ багровымъ безобразнымъ лицомъ, и Петька Голый, и Дунька Плѣшивая, и Кочерга, и Танька-Цыганочка съ »Лександриной« на рукахъ, и еще нѣсколько

силуэтовъ поодаль. Всѣ молчатъ. Всѣхъ захватило скорбное чувство и они не могутъ оторвать глазъ отъ ужаснаго зрѣлища. На землѣ возлѣ мертвой валяются разныя лохмотья и изъ-подъ одного изъ рубищъ глядитъ только-что проснувшійся мальчикъ, съ запухшимъ лицомъ, всклоченными волосами, съ недоумѣвающимъ взоромъ. Что случилось? Вчера, когда было такъ холодно, всѣ эти босяки легли, какъ животныя, въ одну кучу, чтобъ согрѣться, чтобъ спать было теплѣе. А сегодня? Онъ не знаетъ, что именно случилось, но чувствуетъ, что что-то неладно. Тревога проступаетъ на его лицѣ. Это братъ Машки, онъ похожъ на нее, какъ можетъ быть похожъ только братъ. На картинѣ должно быть много движенія. Группу босяковъ я поставлю такъ, что блѣдный лучъ зимняго разсвѣта не коснется ихъ. Но вся Машка будетъ

на свѣту, плохо одѣтая, съ твердыми контурами земерзшаго крѣпкаго тѣла; я отдѣлаю ее со всѣмъ мастерствомъ, которымъ только располагаю, потому-что она главное лицо моей картины, узелъ и центръ всей этой босяцкой трагедіи, этой душу надрывающей драмы.

Но гдѣ взять натурщика для брата Машки? Лицо это должно быть характерно и типично. Разумѣется, можно было-бы какъ-нибудь обойтись: взять перваго попавшагося мальчика и вдвинуть его въ картину, придавъ ему приличную случаю позу и экспресію. Однако, хоть это и водится между художниками и на картинахъ вы постоянно встрѣчаете одни и тѣ-же типы, то въ роли Димитрія Донскаго, то въ роли какого-нибудь современнаго барина, но мнѣ такая манера не нравится. Художники той школы, къ которой я отношу себя, не сочиняютъ и

Московский Университет

по шаблонамъ не пишутъ. Занимательнѣе и красивѣе дѣйствительной жизни ничего не придумаешь. А главное, и придумывать какъ-то совѣстно—точно ты безсиленъ и слѣпъ,или не въ состояніи ясно видѣть, какъ не видитъ, не слышитъ и не понимаетъ жизни заурядная толпа, проходящая мимо интереснѣйшихъ явленій съ тупымъ равнодушіемъ.

Я хотѣлъ остаться въ Кіевѣ еще на день или на два, чтобъ отыскать въ Царскомъ саду подходящаго субъекта. Я его ясно представлялъ себѣ; но мнѣ хотѣлось увидѣть его и убѣдиться, что я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, то сейчасъ-же во всѣхъ подробностяхъ исправить ошибку. Судьба благоволила ко мнѣ, и я нашелъ мальчика, какого мнѣ надо было, даже съ такими волосами, какіе требовались общею колористическою композиціею задуманной мною картины.

Это случилось сейчасъ-же, какъ только я вошелъ въ Царскій садъ и повернулъ налѣво, взобравшись на косогоръ, что за купеческимъ клубомъ.

Мальчикъ, по босяцкому обыкновенію, лежалъ на травѣ, подъ тѣнистымъ деревомъ, и глаза его, большіе и задумчивые, безцѣльно были устремлены вдаль, на Крещатикъ, который виднѣлся отсюда, пыльный и раскаленный, какъ горнъ.

— Здравствуй, милый.

— И вы здравствуйте.

— Какъ тебя зовутъ?

— На-що вамъ?

— Пойди сюда... не бойся... Да что ты! Скажи мнѣ, есть у тебя отецъ?

Я съ удивленіемъ увидѣлъ, какъ мальчикъ, лежавшій до того неподвижно и апатично, проявилъ вдругъ необычайную и на первый взглядъ ничѣмъ необъяснимую дѣятельность. Онъ вскочилъ, какъ

ужаленный, и, словно бѣлка, съ непонятной скоростью сталъ карабкаться на дерево; раза два посмотрѣлъ онъ внизъ, на меня, съ испуганнымъ лицомъ, готовый расплакаться. Свѣтлые рыжеватые волоса гривой нависли на глаза и придавали ему видъ звѣрка; колѣни его и локти долго сверкали въ зеленой листвѣ дерева и, наконецъ, онъ исчезъ. Я видѣлъ только у самой вершины клена въ просвѣтѣ темнозеленыхъ вѣтокъ алое пятно кумачевой рубашки. Онъ притаился.

— Послушай! Чего ты испугался?

Отвѣта не было.

Я постоялъ, пожалъ плечами и хотѣлъ идти дальше; но изъ кустовъ вышелъ Кочерга, изящно поклонился и, въ качествѣ любезнаго бельома, нашелъ необходимымъ помочь мнѣ.

— Это, рекомендую, мой камердинеръ...

— Вашъ комердинеръ?

— Натурально, мой. Его зовутъ Сороконожкой. Эй, дурень, слѣзай! Панъ—добрый! Онъ тебѣ зла не сдѣлаетъ! Онъ не отъ батьки! Да ну, слѣзай, а то отдую! Престранное созданіе, доложу вамъ. Уже нѣсколько недѣль, какъ обратилъ я на него должное вниманіе, но только весьма трудно пріучить его къ отправленію свойственныхъ его званію и расторопности обязанностей. Онъ удралъ отъ своего родителя, который пречудеснѣйшій столяръ, но звѣрь и даже разъ повѣсилъ сына... Увѣряю васъ честью! Отъ этого онъ въ постоянномъ страхѣ и недоумѣніи, что его арестуютъ и водворятъ. А ужъ если водворятъ, то можете вообразить, какая лупка ожидаетъ молодца! Послѣ повѣшенія-то! Слѣзай, слѣзай! Баринъ денегъ дастъ! Посидишь немного,

нарисуетъ тебя и дастъ. А деньги, доложу вамъ, ухъ какъ необходимы! Вы ему, пожалуста, копѣекъ пятдесятъ дайте. Мальчикъ замѣчательный и честности рѣдкой. Представьте, все, что ни получитъ, что ни стащитъ— несетъ ко мнѣ...

— Въ этомъ и состоятъ его обязанности?

— Ну, не скажите... Онъ чиститъ мнѣ платье.—Тутъ отставной портупей юнкеръ указалъ на свою рубаху съ дыркой на плечѣ.—Чиститъ сапоги... Стелетъ мнѣ постель—изъ сѣна. Приводитъ дѣвченокъ. Бѣгаетъ за водкой. Вообще оказываетъ личныя услуги.

Между тѣмъ Сороконожка слѣзъ съ дерева и стоялъ поодаль, изъ подлобья глядя на меня. Былъ это мальчикъ лѣтъ пятнадцати. Ему было чудно, что я не-

хватаю его, а мирно бесѣдую съ босякомъ, и онъ сталъ улыбаться.

— Ишь, шельма! Смѣется! началъ Кочерга и схватилъ Сороконожку за вихоръ. Ты чего струсилъ? Недостойный слуга! Садись и глазомъ не моргни, каналья! Не дыши!

— Присядь, присядь, сказалъ я, раскрывая альбомъ.

— Господинъ художникъ, послушайте, прежде всего испытайте его честность, началъ Кочерга. Что вамъ стоитъ рискнуть пятиалтыннымъ? Рѣдкій случай. Дайте ему пятиалтыннаго и пусть онъ уйдетъ за кусты, а черезъ минуту вернется. Ни одинъ босякъ не устоитъ противъ такого соблазна...

— Вѣрю, но пусть онъ посидитъ...

— Ахъ, Боже мой, ну что вамъ! Отчего не попробовать! Вѣдь это черта-съ!

Кочерга былъ назойливъ.

— Дамъ вамъ пятиалтынный, но вы ужъ не мѣшайте, пожалуста...

— Не мнѣ—я откровенно скажу, не принесу, а Сороконожкѣ. Сороконожка моя гордость. И мнѣ хочется, чтобъ вы убѣдились, что я не лгу.

Я исполнилъ просьбу Кочерги.

„Странный капризъ и, дѣйствительно, рѣдкій случай“, думалъ я, сидя съ карандашемъ на готовѣ и глядя, какъ мчится Сороконожка. Описавъ полукругъ, мальчикъ нырнулъ въ кусты и черезъ минуту опять показался на пригоркѣ. По командѣ Кочерги, онъ ускорилъ бѣгъ и мигомъ очутился возлѣ насъ. Но когда онъ протянулъ руку, чтобъ возвратить мнѣ пятиалтынный, отставной портупей-юнкеръ повелительно закричалъ:

— Стопъ! Давай сюда!

Онъ взялъ монету и спокойно опус-

тилъ ее въ карманъ; потомъ онъ съ торжествомъ посмотрѣлъ на меня.

— Ну, что удивлены? Не правда-ли? Ожидали вы встрѣтить что-нибудь подобное въ Царскомъ саду? Господинъ художникъ, это такой образчикъ честности, на которую едва-ли были способны даже древніе народы. Теперь au révoir! Пропущу рюмашечку. А ты—смотри у меня! Если г. художникъ пожалуется, что ты неспокойно сидѣлъ—исколочу, изувѣчу, шкуру сниму, уши обрѣжу, кишки выпущу и на руку намотаю.

— Что, онъ тебя бьетъ? спросиль я, по уходѣ портупей-юнкера.

Сороконожка ухмыльнулся.

— Ни, ни разу не бивъ. Винъ усе шуткуе. Ему усе игрушки.

— И ты ему все отдаешь?

— Що усе?

— Что ни получишь. Вотъ я тебѣ дамъ теперь денегъ за то, что ты посидишь. Ты ему отдашь?

— А тожъ кому!?

— За что-же?

— Якъ за що? Винъ скаже: »А де гроши?«, то я и виддамъ. Мени грошей не треба.

— А что-жъ ты ѣшь?

— Що уси идятъ, то и я.

— Босяки тебя кормятъ?

— А то-жъ.

Мы замолчали. Я торопливо набрасывалъ Сороконожку. До поѣзда было не мало времени, но предстояло еще кое-что сдѣлать и мнѣ нельзя было засиживаться въ саду.

— Господинъ художникъ, а господинъ художникъ!

Я поднялъ голову. Опять стоялъ бельомъ. Онъ уже успѣлъ пропить пятиал-

тынный, что было видно по его раскраснѣвшемуся носу. Огромное черное пятно на лѣвой скулѣ бросилось мнѣ въ глаза.

— Что вамъ?

— Публика проголодалась. И если-бы гуманность ваша простерлась до семидесяти копѣекъ... Нѣтъ, нельзя? Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ! Давайте тѣ, что обѣщали! Давайте пятдесятъ копѣекъ, которыя слѣдуютъ моему слугѣ! Не даете? Вѣдь это-же мои кровныя деньги! Заработанныя!

— О какой публикѣ вы говорите?

— О нашей... отчасти и вашей... Звѣринецъ въ сборѣ! Вонъ тамъ на лужайкѣ, сейчасъ за каланчей... Они ожидаютъ. Я сказалъ имъ, какъ благородный дворянинъ, что угощу обѣдомъ... Ну, хорошо, вы мнѣ дайте взаймы?! Завтра возвращу... ну, честное слово!

— Нѣтъ, мы съ вами едва-ли увидимся.

— Уѣзжаете? Въ самомъ дѣлѣ? Вотъ что... Жаль! Такъ тѣмъ болѣе, вы не должны скупиться! Нѣтъ, вы рубль дайте! Если уѣзжаете, то рубль! Ужъ и вспоминать васъ будемъ... Дайте рубль безъ отдачи! Благонеоскудѣетъ ваша рука! И, наконецъ, если вы эти картинки въ печать пустите, вамъ заплатятъ... Сколько пользы съ насъ получите... Въ альбомъ вѣдь не спроста вы насъ заносите!

Такое обиліе аргументовъ, между которыми были и основательные, и такая настойчивость заставили меня вынуть мое тощее портмонэ и дать Сороконожкѣ рубль съ тѣмъ, чтобъ онъ обратилъ его на пользу всей братіи. Бельомъ даже языкомъ прищелкнулъ. Онъ раскланялся со мною развязно и дурашливо, откинувъ далеко руку и закативъ глаза.

— Ахъ, вотъ еще къ вамъ просьба?! сказалъ онъ, возвращаясь въ попыхахъ, между-тѣмъ-какъ Сороконожка продолжалъ идти дальше, зажавъ въ рукѣ бумажку.

— Какая?

— Нѣтъ-ли съ вами красокъ?

— Зачѣмъ вамъ краски?

— Нѣтъ-ли тѣлесной краски?

Онъ таинственно и любезно смотрѣлъ на меня.

— Да зачѣмъ?

Въ отвѣтъ онъ поднялъ палецъ и указалъ на чернобагровое пятно подъ лѣвымъ глазомъ.

— Закрасить.

— Нѣтъ, красокъ съ собой нѣтъ. Странная идея! Все равно, такъ пройдетъ.

— Не хорошо-съ! возразилъ онъ. На Крещатикъ нельзя показаться.

— Гдѣ-же это вы такъ... зашиблись? спросилъ я.

— Я-бы могъ вамъ сказать, что бѣжалъ въ потьмахъ и ударился о дерево, отвѣчалъ онъ, но это была-бы чистѣйшая ложь! До свиданія! Счастливой дороги! Надо спѣшить къ своимъ!

Я вышелъ изъ сада и поднялся по Александровской улицѣ. Я прошелъ уже изрядное пространство, какъ услышалъ, что кто-то бѣжитъ позади меня и кричитъ:

— Панъ, а панъ!

Я обернулся и увидѣлъ Сороконожку.

— Вы ножикъ загубили! кричалъ онъ, подавая мнѣ перочинный ножъ.

Мнѣ ужасно понравился этотъ мальчикъ.

— Послушай, поѣдемъ со мною: Ты будешь служить у меня. Я тебя грамотѣ обучу, одѣну...

— Добре...

— Я розыщу твоего отца и уговорю его отпустить тебя, дать тебѣ бумагу...

Мальчикъ насторожилъ ухо.

— Якъ? Щобъ до батька? Э, ни, не хо̀чу!

— Да не до батька, а надо-жъ, чтобъ онъ тебя отпустилъ.

— Ни, якъ такъ, то не хочу!

— Да я батькѣ заплачу!

— Ни, вже не хочу!

Я взялъ его за руку, чтобъ уговорить его, но онъ въ страхѣ и тоскѣ посмотрѣлъ на меня, сильно рванулся и стрѣлой помчался назадъ.

Іюль, 1884.

Толкучка.

ТОЛКУЧКА.

Небо ясное, погода теплая, солнце почти лѣтнее. Тополя, не смотря на половину октября, еще зеленые-зеленые. Пыль слѣпитъ глаза.

Подольская толкучка въ самомъ разгарѣ. Развернулась она, пестрая и многоголосная, сейчасъ за гостиннымъ дворомъ, за фонтаномъ »Льва-Самсонія«, мокрая бронза котораго блеститъ на солнцѣ, невозможная, нелѣпая, но тѣмъ не менѣе вызывающая изумленіе набожныхъ мужичковъ. Они собрались вокругъ фонтана и, кажется, относятся съ благоговѣніемъ и къ фигурѣ Самсона, напоминаю-

щаго собою скорѣе индѣйскаго дикаря, чѣмъ библейскаго героя, и къ фигурѣ льва, апатично раскрывающаго круглую рыбью пасть и прочно стоящаго на коротенькихъ, прямыхъ, какъ палка, ногахъ. Кто-то повѣсилъ »Льву-Самсонію« мѣдный крестикъ на шею и, когда вѣтеръ дуетъ, крестикъ колеблется на своей розовой ленточкѣ.

Торговки сидятъ передъ пирамидальными кучами золотистыхъ яблокъ, синихъ сливъ и винограда и кричатъ на разные голоса:

— Баринъ, сюда пожалуйте!

— Баринъ, а баринъ, не слушайте ее, у ней яблоки гнилыя... У ней...

— Брешешь ты...

— Сама ты брешешь!...

— Кто, я брешу?

— А то-жъ... У ней, баринъ...

— Да ты мнѣ скажи—я брешу?

Сцена.

Баринъ проходитъ мимо, а торговки вдругъ начинаютъ мирно разговаривать, какъ ни въ чемъ не бывало, пока новый покупатель не сдѣлается предметомъ новаго раздора.

Толпа становится плотнѣе. Бабы, солдаты, мишуровы, мальчишки, дѣвчонки, дѣвки, купцы, чиновники, дамы, кухарки, кучера, лакеи, цыгане—все это, дѣйствительно, толчется почти на одномъ мѣстѣ, всѣ кричатъ, всѣ разговариваютъ, всѣ что-то продаютъ и что-то покупаютъ, и изъ этого хаоса лицъ и голосовъ то вынырнетъ красная, гнѣвная физіономія перекупщика, то фраза: »Себѣ дороже«! или: »Нѣтъ, ты купи, да въ ноги поклонись«!, или покажется хорошенькое смѣющееся личико дѣвушки въ платочкѣ, продающей муфту, и сейчасъ же опять

изчезнетъ и его мѣсто занимаетъ уже какая-нибудь печальная морда съ раздутой щекой, съ чернымъ подтекомъ подъ глазомъ, пытливо прищуреннымъ.

Два-три ларя съ книгами, въ отрепанныхъ переплетахъ, почти исключительно духовнаго содержанія, привлекаютъ не много публики. Только возлѣ одного ларя, гдѣ оказались польскіе фоліанты XVIII и даже XVII в., собралась небольшая кучка любителей и жадно торгуетъ книги. Тутъ же, на землѣ, на рогожкахъ и тряпкахъ, лежатъ подержаные краны, дверныя ручки, щиколды, петли, вьюшки, утюги, спринцовки, цинковые постаменты отъ лампъ. Древній старикъ, на голомъ черепѣ котораго торчитъ одиноко, сбоку, клочекъ бѣлаго моха, продаетъ этотъ товаръ. Старуха съ провалившимся ртомъ и добродушными глазами помогаетъ ему. Это Филемонъ и Бавкида толкучки. Низенькій

еврей старожечникъ съ плоскимъ краснымъ лицомъ и широкимъ квадратнымъ туловищемъ, держа на рукѣ нѣсколько паръ той одежды, которую принято называть „онымі“, остановился и подсмѣивается надъ стариками.

— Ну, искажи ты мнѣ, когда попъ панихиду будетъ править по тебѣ, старый ты песъ?! Зачѣмъ ты не умираешь?

— Время мое еще не пришло, шамшитъ Филемонъ съ убѣжденіемъ и повидимому нисколько не обижается на остроумнаго старожечника.

— Не пришло, не пришло! радостно подтверждаетъ Бавкида.

— Ой, чтобъ вы, мадамъ, были такъ здоровы, какъ вы говорите правду! Онъ уже долженъ былъ помирать еще за царя Гороха.

— А вотъ не умеръ...

— Я еще тебя переживу... Хе—хе—хе! Я, братъ, трехъ такихъ переживу; я, братъ, на Кавказѣ—трубочку курилъ.

И, закуривъ трубочку, онъ побѣдоносно взглянулъ на старожечника.

Тотъ немного опѣшилъ, потому что не ожидалъ такого аргумента. Потомъ расхохотался.

— А, старый—дурный. Что выдумалъ!

И старожечникъ, протискиваясь въ толпѣ, уходитъ со своими „оными“, потрясая отъ смѣха квадратными плечами.

Рядъ низенькихъ деревянныхъ лавокъ, паралельный гостинному двору, занятый краснорядцами и желѣзниками, раздѣляетъ толкучку на двѣ половины. Въ первой соблюдается нѣкоторый порядокъ: одинъ „кварталъ“ ея обилуетъ подержанными диванами, грязными вонючими шкафами, просиженными стульями, заплѣс-

невѣлыми умывальными столиками съ слѣдами мыла и всякой дряни. Есть тутъ, впрочемъ, и новенькая мебель, но почему-то кажется, что она сейчасъ-же разъѣдется и покоробится, какъ только дотронешься до нея. Народу здѣсь мало, и торговцы уныло пьютъ чай изъ жестяныхъ и мѣдныхъ чайниковъ. Испорченныя швейныя машины продаются за безцѣнокъ, а если купить лампу съ погнутой горѣлкой, то можно получить въ придачу пару выщербленыхъ тарелокъ.

Къ мебельному »кварталу« примыкаютъ »рундуки« торговцевъ старинными, антикварскими вещами. Тутъ тоже жалкій товаръ. Музыкальные ящики меланхолически трезвонятъ, или шипятъ; клистиръ сверкаетъ на солнцѣ своими металическими частями рядомъ съ фарфоровой пастушкой въ испанскомъ костюмѣ и безъ головы. Возлѣ одного рундука возбуждаетъ

большое любопытство весьма древняя еврейская мѣдная монета.

Подходитъ старичекъ, съ краснымъ бритымъ лицемъ и въ зеленомъ пальто.

— Сколько вы хотите за нее? говоритъ онъ, хватая монету.

Торговецъ пристально слѣдитъ за пальцами престарѣлаго любителя.

— Вы не купите, говоритъ онъ полупрезрительно.

— Что-такъ?

Торговецъ молчитъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?.. Двадцать копѣекъ возьмете?

— Университетъ давалъ сто двадцать пять рублей! Понимаете-ли—*рублей!!!*

И, взявъ монету изъ рукъ любителя, торговецъ начинаетъ играть ею.

— Монета эта — царя Соломона — тутъ все обозначено... и когда чеканена, и при

какомъ царѣ... При Соломонѣ—вѣрно! Эй, послушай, Шмуль!

Подходитъ Шмуль. На немъ надѣто множество жилетокъ, и онъ кажется толстымъ. Но въ дѣйствительности онъ тонокъ. На каждой рукѣ у него по истасканному пальто, съ облѣзлымъ мѣховымъ воротникомъ.

— Прочитай, братъ, что написано!

Шмуль силится прочитать. Глубокомысленно смотритъ онъ на монету и молча шевелитъ губами. Но прочитать не можетъ.

— Неграмотенъ, другъ! Отчаливай! говоритъ торговецъ и прячетъ монету въ витрину.

Старичекъ посматриваетъ на нее завистливымъ окомъ, киваетъ съ хитрой улыбочкой головой и дѣлаетъ видъ,— чтобъ не уронить своей репутаціи знатока,—что онъ самъ отлично понимаетъ,

какая это цѣнная и рѣдкая монета. Наконецъ, покупаетъ Екатерининскую гривну и исчезаетъ въ толпѣ.

Въ антикварскомъ ряду, если вы любитель старины, вы можете купить часть бронзовой чернильницы, черенокъ безъ ножей, кинжалъ, чрезвычайно смахивающій на кухонный инструментъ, золотой крестикъ (безъ пробы), табатерку съ картинкой порнографическаго содержанія и такую, что, раскрывъ ее, непремѣнно расчихаешься, хоть въ ней и давно ужъ нѣтъ табаку, и вообще много другихъ весьма безполезныхъ, весьма старыхъ и весьма комическихъ вещей.

Изъ антикварскаго ряда легко проникнуть въ платяной, или, вѣрнѣе, въ тряпичный. На кучахъ истерзанныхъ, полинялыхъ ковровъ, занавѣсокъ, цвѣтныхъ скатертей возсѣдаютъ тряпичницы. Всевозможныя шубки привлекаютъ прекрас-

ный полъ, и барыни, и барышни разсматриваютъ на свѣтъ эти отвратительныя поношенныя вещи, сохраняющія еще формы ихъ прежнихъ обладательницъ. Куча муфтъ, точно стая пестрыхъ звѣрковъ, набросившихся на добычу, валяется на землѣ. И ноги могутъ запутаться въ „боа“, порыжѣлыхъ и облѣзлыхъ, кажущихся какими-то змѣями, приползшими сюда, на Подольскую толкучку, со всѣхъ концевъ Кіева и испустившими здѣсь дыханье въ трудномъ процессѣ линянія.

Вторая половина толкучки, втиснутая въ узкое пространство между двумя рядами лавокъ, представляетъ неменьшій интересъ. Въ толпѣ яблоку упасть негдѣ, и люди туго передвигаются съ мѣста на мѣсто.

Кучеръ продаетъ красивую уздечку и бесѣдуетъ съ пріятелемъ. Онъ жалуется на барыню:

— Сейчасъ: „Иванъ, чистилъ лошадей?“—Да чистилъ, чистилъ... что имъ?! Лошади, братецъ ты мой, послѣднія... Сейчасъ: „Иванъ, ты пьянъ?“—Разрази меня, ежели маковая росинка!... Ну, вотъ сѣла; фаэтонъ нà-бокъ оттого, что изъ себя толстая—вò! Поднимаемся на Институтскую гору... Сейчасъ: „Ахъ, ахъ! Иванъ, Иванъ! Ты опрокинешь меня!“—Да будьте покойны, барыня... „Ахъ, ахъ! Ты пьянъ!“—Такъ вотъ, братецъ, жизнь какая...

Иванъ мрачно сплюнулъ.

Въ другомъ мѣстѣ, не смотря на тѣсноту, завязалась драка. Публика раздвинулась, и образовался маленькій кругъ. Молодой парень, въ полушубкѣ съ пестрыми разводами на груди, норовитъ ударить въ зубы крошечнаго солдатика, повидимому денщика, блѣднаго и съ сверкающими черными глазами. Тотъ ловко

отражаетъ удары и кидается на противника, наклонивъ туловище, теменемъ впередъ, какъ баранъ. Оба не говорятъ ни слова и только иногда гикаютъ.

Дальше въ толпѣ совершается купля-продажа бритвы. Лезвіе бритвы сверкаетъ на солнцѣ, и продавецъ, худой, отрепанный мастеровой, въ грязномъ картузѣ съ разорваннымъ козырькомъ, расхваливаетъ товаръ.

— Аглицкая вещица... пріятная!

Покупщикъ съ физіономіей обрюзглой и круглой, какъ луна, серьезно смотритъ на мастерового.

— Дай-ка сюда.

Онъ беретъ бритву и пробуетъ ее на своей щекѣ. Его толкаютъ подъ руку, онъ дѣлаетъ порѣзъ. Но онъ порѣза не замѣчаетъ. Рана на его надутой щекѣ кажется краснымъ волоскомъ.

— Бритва ничего, говоритъ онъ.

— Первый сортъ! Вы посмотрите только, до чего она, значитъ, замѣчательная, что даже звенитъ...

И мастеровой беретъ бритву назадъ и начинаетъ брить себѣ подбородокъ.

— Слышите: звенитъ... Вотъ точно коса по травѣ ходитъ...

— Да, бритва, можно сказать...

— Помилуйте! Сегодня хочу несть ее продавать, а жена говоритъ:» Не неси, Павло... Не неси, миленькій«... Женѣ, значитъ, даже понравилась!.. Потому что, какъ я стану бриться ею, такъ она: динь-динь! А жена слушаетъ и улыбается.

Луновидный человѣкъ не выдерживаетъ. Онъ пробуетъ бритву на другой щекѣ, дѣлаетъ подъ глазомъ еще порѣзъ, платитъ деньги и уходитъ съ толкучки, довольный дешевой покупкой.

Октябрь, 1883.

Святочные Разсказы.

СОНЪ.

По Кловскому спуску, часовъ въ пять, зимою, поднималась худая старуха. На ней былъ рыжій, нѣкогда черный платокъ, покрывавшій ея голову и плечи, и отрепанный салопъ, изъ подъ котораго виднѣлось неопредѣленнаго цвѣта платье. Старуха шла одиноко. На мѣстѣ заката расплывалась вечерняя заря широкимъ розовымъ пятномъ, и по дорогѣ отъ горъ ложились на снѣгъ синія холодныя тѣни.

Старуха кашляла. Она возвращалась съ Подола, гдѣ продала старые сапоги мужа, и въ карманѣ у ней, въ крѣпко за-

вязанномъ узелкѣ носоваго платка, лежало тридцать копѣекъ.

На эти тридцать копѣекъ она съ мужемъ встрѣтитъ праздникъ. Что-же до Настеньки, ихъ дочери, то ужъ та пусть сама для себя промыслитъ. Не маленькая дѣвочка. Хорошо и то, что мать и отецъ даютъ пристанище.

Тишина лежала мертвая. Тополи тянулись двумя рядами до Печерска, неподвижные и бѣлые отъ инея — точно призраки. И въ сизомъ небѣ загорались звѣзды.

Изъ оврага вышелъ человѣкъ. Старуха испугалась, и ея рука невольно отправилась въ карманъ и крѣпко сжала деньги. Человѣкъ сдѣлалъ два шага и остановился. Мѣсто пустынное, Богъ его знаетъ, что у него на умѣ.

Отъ мороза захватывало дыханіе, да и отъ страха. Глаза старухи впились

въ человѣка. Она повернула къ нему лицо. Сердце билось такъ, что она слышала его удары. Кровь стыла въ жилахъ.

Тридцать копѣекъ пустыя деньги, повидимому. Но голодному человѣку—находка. Старуха боялась голодныхъ людей, потому-что сама была голодна.

И съ какой смертельной тоской подвигалась она! Но вотъ человѣкъ ступилъ еще. Старуха замедлила шаги.

На бѣлесомъ фонѣ снѣга яснѣе выдѣлилась фигура чернобородаго молодца, въ мѣховой шапкѣ, въ хорошемъ, кажется, тулупѣ... Ахъ, грѣхъ какой! Никакъ знакомый?

— Никита Васильевичъ, вы?

— Я, голубушка Прасковья Ниловна! отвѣчалъ человѣкъ молодымъ пріятнымъ басомъ. Съ наступающимъ праздникомъ васъ!

— Васъ также... Да что вы, батюшка, людей пугаете? начала вдругъ сердито старуха.

Никита Васильевичъ, мелочной торговецъ, по фамиліи Приспѣлкинъ, подошелъ ближе къ Прасковьѣ Ниловнѣ и подалъ руку, низко снявъ шапку. Онъ былъ родомъ изъ Москвы и любилъ тонкое обращеніе.

— Отнюдь не желалъ я пугать васъ, голубушка Прасковья Ниловна. Въ добромъ-ли вы здоровьи? И въ добромъ-ли здоровьи супругъ вашъ? И какъ поживаетъ спѣсивая Настасья Егоровна?

Въ жилахъ старухи текла дворянская кровь. У отца ея подъ Кишиневомъ когда-то былъ виноградникъ. Ей ничего не досталось, потому-что она противъ воли родительской вышла замужъ за военнаго писаря, Егора Ивановича Свистуна, впавшаго теперь, по случаю старости,

въ безъисходную бѣдность. Но это не мѣшало Прасковьѣ Ниловнѣ смотрѣть на Приспѣлкина сверху внизъ. Приспѣлкинъ былъ мѣщанинъ. Егоръ Ивановичъ Свистунъ былъ ему не подъ стать. Онъ вышелъ въ отставку съ званіемъ кандидата на классныя должности и получаетъ отъ казны восемь рублей въ мѣсяцъ пенсіи. Онъ—не кто нибудь.

Она отвѣчала:

— Благодарствуйте. Слава Богу, живемъ, не жалуемся. А на счетъ Настеньки—не могу съ вами, батюшка, согласиться. Гдѣ ужъ она спѣсивая! Чуть за васъ не вышла!

Приспѣлкинъ вздохнулъ и погладилъ бороду.

Потомъ онъ предложилъ Прасковьѣ Ниловнѣ проводить ее до ихъ улицы, потому что, дѣйствительно, неровенъ часъ, лихихъ людей много. И Прасковья Нилов-

на смягчилась. Она чувствовала, какъ расположенъ къ нимъ этотъ человѣкъ. Ей иногда казалось, что она видитъ его насквозь, знаетъ всѣ его помыслы. Они шли и разговаривали о томъ, какъ недѣлю тому назадъ на этомъ самомъ мѣстѣ ограбили ихъ сосѣдку, повивальную бабку.

Они вошли въ длинную темную улицу, гдѣ горѣли керасиновые фонари и дома были одноэтажные, покосившіеся, и все какіе-то мрачные и безмолвные, съ окнами тускло-желтыми, или черными, или красными, какъ кровь.

— Праздникъ небось встрѣчаютъ, сказала Прасковья Ниловна.

— Встрѣчаютъ, отвѣчалъ Приспѣлкинъ. Звѣзды ужъ давно высыпали.

— Лавки-то не заперты?

— Я свою заперъ. А вамъ что надоть?

— На пятачекъ сахару, да на пятачекъ чайку... Да керасинчику фунтикъ. Да

вотъ-бы еще булочку. Да старику моему рыбки маринованной на пятачекъ, въ трактиръ-бы забѣжать. Да водочки крючекъ. А кутья у насъ есть. Ну, пожалуй, что и Настенька что-нибудь домой принесла. Вышивала она тутъ рубашку кондитеру. Рубликъ дастъ матери. Тогда-бы хорошо на завтра колбаски, да сальца, да еще гусятинки старику. Очень онъ любитъ гусятинку.

— Торопитесь, голубушка, замѣтилъ молочной торговецъ и сталъ прощаться. Теперь въ обратный путь, прибавилъ онъ.

— Именно куда? спросила она, желая быть внимательной въ возмездіе за его любезность.

— Да такъ... родныхъ у меня нѣту... Пойду на Крещатикъ, къ знакомому, авось кручину развѣю, отвѣчалъ Приспѣлкинъ грустнымъ голосомъ.

Прасковья Ниловна продолжала:

— Въ семейный домъ?

— Нѣтъ, къ бобылю, такому-жъ, какъ я... Не очень-то, правду сказать, и хочется.

— Такъ лучше къ намъ, на кутью! гостепріимно воскликнула Прасковья Ниловна и прикусила языкъ. Она вспомнила, что угощать — нечѣмъ. И самимъ, навѣрно, не хватитъ! Но слово, что воробей: выпустишь, не поймаешь. Приспѣлкинъ, къ тому-же, уже поблагодарилъ. Онъ обѣщалъ придти черезъ полчаса. Онъ только зайдетъ домой и пріодѣнется. Онъ не хочетъ, чтобъ гордая Настасья Егоровна осмѣяла его костюмъ, который онъ носитъ „по купечеству“. У него есть „цивильное“ платье. Онъ оживился и было несомнѣнно, что онъ сегодня ихъ гость.

— И какъ это случилось — ума не приложу! говорила себѣ Прасковья Ниловна, дѣлая покупки.

Немного ихъ было, когда она пришла домой. Свистуны, или какъ предпочитала выражаться Прасковья Ниловна, Свистуновы — жили въ мезонинчикѣ. Надо было подниматься по отвѣсной и узкой лѣсенкѣ, въ темнотѣ. Лѣсенка дрожала, скрипѣла; у Прасковьи Ниловны отъ страха отнимались ноги. Она боялась темноты и боялась лѣстницъ. Наконецъ, дверь отворилась и на нее пахнуло теплomъ. Старикъ хоть и былъ боленъ, но всѣ эти дни таскалъ щепки и сухой бурьянъ. Сѣнцы завалены топливомъ. Желѣзная печка, стоявшая въ углу на четырехъ кирпичахъ, накалилась до красна. Полъ еще съ утра былъ чисто вымытъ, и надъ кроватью старика, въ розовомъ сумракѣ комнаты, рельефно выступала съ ковра, купленнаго въ лучшія времена, бѣлая лошадь и странно скалила неестественной величины зубы.

— Вотъ, Егоръ, — купила всего, сказала Прасковья Ниловна и, положивъ свертки на столъ, стала грѣть руки возлѣ печки. А Настеньки нѣтъ?

— Не приходила, отвѣчалъ Свистунъ, весело поглядывая на покупки.

Онъ лежалъ на кровати. Прасковья Ниловна съ сердечной болью смотрѣла на него. Этотъ старикъ, съ совиными глазами, съ крючковатымъ носомъ и большими оттопыренными ушами, напоминавшими собою уши летучей мыши, былъ когда то, по ея мнѣнію, красавцемъ. Теперь шея у него была тоненькая, какъ у журавля, а животъ росъ, дѣлаясь все больше съ каждымъ днемъ. Хуже всего было то, что Свистунъ былъ безпеченъ. Въ послѣднее время въ немъ развилась непонятная веселость. Онъ голодалъ и все-таки смѣялся. И когда ему говорили, что у него водянка, онъ хлопалъ себя по животу коротень-

кими ручками, точно по барабану, и глупо улыбался. Онъ былъ очень старъ.

— А табачку купила? спросилъ онъ.

— Еще чего захотѣлось?!

— Ну, и ладно. А гусятинки?

— Гусятинки! передразнила его жена.

— Ладно. Зачѣмъ сердиться?

Онъ сталъ что-то напѣвать и по временамъ заливался тихимъ разсыпчатымъ смѣхомъ, между-тѣмъ-какъ жена возилась съ самоваромъ и накрывала столъ.

— Ой, жжетъ! Ой жжетъ! началъ кричать старикъ.

— Что жжетъ? Гдѣ?

— Подъ ложечкой... А теперь сосетъ... да такъ щекотно... Ха-ха-ха-ха! Ахъ! Смерть какъ щекочетъ! Ха-ха-ха!

И онъ опять заливался. Прасковья Ниловна, накрывъ убогій столъ, угрюмо молчала, въ ожиданіи дочери и гостя.

У ней былъ свой сундукъ, гдѣ хранилось, кромѣ тряпья, все съѣстное, и у дочери—свой. Настенькинъ сундукъ былъ обитъ жестью и замыкался двумя замками, наружнымъ и внутреннимъ. Въ этомъ сундукѣ было много добра. Тамъ хранились новыя шести-рублевыя ботинки, купленныя Настенькой на этой недѣлѣ. Она сказала, что въ стуколку деньги выиграла. Было тамъ шелковое перекрашенное платье. Было полдюжины рубахъ съ кружевными „кокетками“. Было золотое съ бирюзою кольцо. Было зеркальце аплике. Были серьги съ брильянтиками. Она сказала, что нашла. Были и еще разныя вещи. Старухѣ было пріятно, что Настенька бережлива, но ее обижала скупость дочери. Настенька никогда кусочка сахару ей не дастъ! Все собираетъ; кусковъ двадцать и теперь въ сундукѣ лежитъ. Слѣдовало бы проучить Настень-

ку. Взять да поѣсть безъ нея кутью. На Настенькинъ рубль никакой надежды нѣтъ и Прасковья Ниловна выразила ее только при чужомъ человѣкѣ, чтобъ знали, какая у ней добрая дочь, изъ особаго рода материнской политики.

Минутъ черезъ десять на лѣстницѣ послышался стукъ и вошелъ мелочной торговецъ въ барашковой шубѣ и съ корзиной. Онъ снялъ шапку, помолился на образа и поклонился хозяевамъ, тряхнувъ подрѣзанными черными волосами, отъ которыхъ несло олифой.

— Что это вы съ корзиной? спросила Прасковья Ниловна, холодновато встрѣтившая гостя.

— Гусятинка! Поросеночекъ! Рыбка! Булочки! закричалъ Свистунъ, поворачиваясь на брюхѣ, какъ на шарѣ; онъ радостно потиралъ руки.

Приспѣлкинъ подошелъ къ Прасковьѣ Ниловнѣ и склонилъ голову.

— Бью челомъ, голубушка! Не взыщите за малое приношеніе...

Тогда Прасковья Ниловна сжала губы и, подумавъ, протянула ему съ благодарностью руку.

Она хотѣла сначала отставить корзину, чтобъ показать, какъ мало они нуждаются. Но голодъ не тетка. Да и любопытно было, что тамъ такое, въ самомъ дѣлѣ. Она стала опорожнять ее. Въ кулечкахъ былъ изюмъ, чернослив, сахаръ, миндаль, орѣшки. И кромѣ предметовъ, перечисленныхъ Свистуномъ, она достала вяленаго карпа, десятокъ сельдей, причемъ дворянскій носъ ея различилъ сейчасъ же, что сельди хорошія, голландскія, первый сортъ. Наконецъ, блеснуло горлышко очищенной. Старуха все, что было постнаго, поставила на

столъ, и трапеза предстояла обильная. Свистунъ, бесѣдуя съ Приспѣлкинымъ (который плохо слушалъ его, все поглядывая на дверь, не войдетъ-ли Настасья Егоровна), не удержался и потихоньку стащилъ кусокъ гусятинки. Отвернувшись къ стѣнкѣ, онъ вдругъ замолчалъ и сталъ жадно пожирать мясо.

Когда Прасковья Ниловна управилась, Приспѣлкинъ спросилъ, вытирая потъ со лба пестрымъ платкомъ:

— Что-жъ, ваша барышня?

— А который теперь часъ? сказала Прасковья Ниловна.

Приспѣлкинъ вынулъ изъ бархатнаго въ зеленыхъ мушкахъ жилета золотые часы.

— Скоро восемь.

Старуха нахмурилась. Приспѣлкинъ сталъ говорить, что, можетъ, подружки

задержали, но проницательная старуха видѣла всѣ его мысли. Торговецъ думаетъ, что тутъ кондитеръ виноватъ. И хотя старуха думаетъ какъ-разъ то-же самое, но она защищаетъ дочь. Бѣдная Настенька! Ужъ какъ она трудилась! Ночей не досыпала, вышивая сорочку! А заплатятъ-ли ей за трудъ!?

Приспѣлкинъ, играя пальцами, замѣтилъ, что Настасья Егоровна могла-бы жить въ довольствѣ, что не зачѣмъ ей такъ убиваться надъ кондитерскими рубашками. И Прасковья Ниловна внутренно соглашается съ этимъ. И Настенька, да и она ни въ чемъ не нуждались-бы, еслибъ Приспѣлкинъ женился на ней. Онъ богачъ. Ишь какіе у него часы. Но вдругъ мысль, что онъ мужикъ необразованный, смущаетъ ее. Она простываетъ. И ей, во что-бы ни стало, хочется разсѣять всѣ подозрѣнія Приспѣлкина на

счетъ кондитера. Возможно-ли, чтобы ея Настенька такъ унизилась... Плевать она хотѣла на кондитерскія рубашки!

Свистунъ сожралъ свою гусятинку и у него опять жжетъ и щекочетъ подъ ложечкой. Онъ легъ на спину и вытянулъ ноги. И онъ такой блѣдный, животъ его такъ вздувается, такъ странно торчатъ его уши, что Прасковья Ниловна подходитъ къ нему въ ужасѣ и тормошитъ его. Онъ поворачиваетъ къ ней лицо и хохочетъ.

— Все ладно, все ладно! произноситъ онъ, по обыкновенію, весело.

Проходитъ еще полчаса и еще. Нельзя ужъ больше ждать. Гость уныло смотрѣлъ на принесенныя имъ закуски. Прасковья Ниловна зажгла лампадку, въ комнатѣ повеселѣло, и они сѣли за ужинъ.

Но, кромѣ Свистуна, никто почти не ѣлъ. Гость надулся и хмурилъ брови, и

иногда сквозь зубы говорилъ: „Пора-бы, кажется!“ Прасковья Ниловна горѣла отъ стыда. Послѣ ужина Свистунъ прыгнулъ въ постель и, тяжело дыша, положилъ обѣ руки подъ голову и старался заснуть, хлопая глазами. Онъ лежалъ теперь бокомъ и его ноги казались спичками. Это были босыя ноги, съ огромными мозолистыми ступнями, пальцы которыхъ судорожно двигались.

— Пора-бы! громко произнесъ Никита Васильевичъ въ одинадцать часовъ, свирѣпо глянулъ на дверь и всталъ.

Прасковья Ниловна была унижена. Съ притворной улыбкой, путаясь во лжи, она стала объяснять Приспѣлкину, что Настенька—она теперь вспомнила только—была приглашена на сочельникъ къ генеральшѣ Звѣрюгиной и, должно быть, ее тамъ оставили ночевать. И въ то-же время она видѣла, что мелочной торго-

вецъ этому ни на волосъ не вѣритъ, и униженіе ея усугубилось.

Вдругъ дверь распахнулась и вошла Настенька, дѣвушка лѣтъ семнадцати съ миловиднымъ неправильнымъ личикомъ и черными, какъ у матери, глазами. На ней было новое пальто, отдѣланное плюшемъ, и алая шляпка съ бѣлымъ перомъ.

— Фуй! Что это такъ оливой смердитъ! вскрикнула она и съ презрѣніемъ посмотрѣла на мелочнаго торговца.

Новое пальто и алая шляпка поразили Прасковью Ниловну.

— Что вы такъ смотрите, маменька? Это мнѣ сегодня подарили... Ахъ, маменька, какъ у васъ скверно! На лѣсенкѣ чуть ногъ не сломала! Папенька въ водянкѣ прохлаждаются. Вмѣсто гостя—какой-то сюжетъ неподходящій... Хоть и въ сюртукѣ, а мужикъ мужикомъ... Сами вы—нищая

голодная, голодная... Денегъ у васъ нѣтъ. Взгляните, какъ сыро тутъ, со стѣнъ течетъ, плѣсенью пахнетъ. Не сегодня-завтра папенька умретъ, пенсію уполовинятъ. На что жить будемъ? А вѣдь мнѣ хочется молодость свою чѣмъ-нибудь помянуть! Что мнѣ замужъ идти за него! Умница вы, что сами-же отговорили! Онъ бить меня будетъ. Ишь какъ смотритъ! Ну, вотъ и полюбила я душончика. У него заведеніе кондитерское, каждый день двадцать рублей чистой выручки. Есть съ чего подарки дѣлать. Женѣ не сдѣлаетъ, а мнѣ сдѣлаетъ. Вы пощупайте только—матерія какая, а платье-то какое... А часики! Да онъ меня, какъ куколку, въ одинъ мигъ одѣлъ—и башмачки, и чулочки, и подвязочки.

Она показала подвязки. Она болтала, точно пьяная, и задыхалась отъ радости. Никита Васильевичъ угрюмо надѣвалъ

шубу и лицо его побагровѣло отъ сдержаннаго гнѣва.

Прасковья Ниловна дрожала. Ей хотѣлось кинуться на дочь и оттаскать ее за волосы. Но Настенька была сильнѣе, да и чужой человѣкъ былъ въ домѣ. Она поблѣднѣла. И больше всего ужасало ее, что дочь, поступивъ на содержаніе, броситъ ее и забудетъ. Она не сомнѣвалась въ этомъ.

Настенька продолжала:

— Скучно мнѣ, маменька, у васъ было, ахъ, какъ скучно! И наголодалась я, и холоду натерпѣлась! Ничему вы не выучили меня, и сами ничего не дѣлали. Все на что-то надѣялись... Ну, и дождались! Теперь я вольная пташка!

Она поклонилась. Прасковья Ниловна закашлялась. Это былъ припадокъ ненависти къ дочери. Она постучала кулакомъ

по кулаку, но языкъ у ней точно отнялся. И она не могла встать съ мѣста.

— Я, маменька, за сундукомъ пріѣхала, сказала, наконецъ, дочь какимъ-то торжествующимъ тономъ, показавшимся старухѣ особенно обиднымъ. Мы съ вами разстаемся! Мнѣ жить тутъ больше нечего!.. Адье!

У Прасковьи Ниловны брызнули слезы. Она въ отчаяньи протянула къ дочери руки. Но въ это время Приспѣлкинъ, уходя, такъ страшно хлопнулъ дверью, что весь мезонинчикъ затрясся и въ комнатѣ сдѣлалось темно.

... Отъ шума и отъ душевнаго волненія Прасковья Ниловна проснулась. Она проснулась въ своей богатой пуховой постели, покрытая атласнымъ стеганымъ одѣяломъ. Въ спальнѣ было свѣтло, слышался праздничный трезвонъ колоколовъ. Сонъ былъ такой »натуральный«, что

Прасковья Ниловна не сразу повѣрила окружающей ее дѣйствительности. Наконецъ, она убѣдилась. Ей столько-же лѣтъ, какъ той Прасковьѣ Ниловнѣ, но она еще не старуха. Она не высохла отъ голодной жизни. Напротивъ, у ней довольно полная грудь. Она еще belle-femme. И ея черныя глаза не безъ огня, когда она смотритъ на молодыхъ людей. Она вспомнила о мужѣ. Дѣйствительно, его фамилія—Свистунъ. Но этотъ Свистунъ статскій совѣтникъ и получаетъ пять тысячь жалованья на одной службѣ, семь на другой, четыре на третьей. У него три дома. Онъ, правда, шарообразенъ, но не отъ водянки, а отъ того, что много ѣстъ. Наконецъ, дочь ихъ Настенька, премилая дѣвушка, окончившая недавно институтъ, любитъ брильянты и любитъ одѣваться, но она выходитъ замужъ и она невинна, какъ голубь... . . . . .

Кондитеръ... Какой-то Приспѣлкинъ... старые сапоги... чердакъ... И приснится-же такое!!

Она въ негодованіи на себя повернулась на другой бокъ и хотѣла еще заснуть. Но не могла. Ее все что-то безпокоило.

Наконецъ, черезъ полчаса она протянула руку къ ночному столику, взяла колокольчикъ и позвонила.

— Послушай, Катя, сказала она вошедшей дѣвушкѣ,—вотъ тебѣ ключъ, достань изъ комода кошелекъ.

Горничная достала.

Барыня велѣла подать затѣмъ конвертъ и, положивъ въ него 25-рублевую бумажку, запечатала.

— Отнеси это сейчасъ нашимъ жильцамъ, что во флигелѣ на чердакѣ... Они голодаютъ и за квартиру не платятъ. Мнѣ они сегодня всю ночь снились, прибавила

она съ раздраженіемъ. Да не говори отъ кого!

И когда горничная ушла, она потянулась и подумала:

— Во всякомъ случаѣ, это меня не раззоритъ.

Декабрь, 1883.

У ДѢТЕЙ НА ЕЛКѢ.

Дѣти въ нарядныхъ пестрыхъ платьицахъ и праздничныхъ курточкахъ застѣнчиво столпились въ залѣ. Я вижу бѣлокурыя маленькія лица, вижу черные и сѣрые глазки, съ наивнымъ любопытствомъ устремленные на красивую гордую елку, сверкающую мишурнымъ великолѣпіемъ. Бонна зажигаетъ свѣчки, и, точно пожаръ, вспыхиваетъ елка въ этой большой комнатѣ, гдѣ, кромѣ дѣтей, сидятъ поодаль взрослые — мужчины и дамы.

Отъ елки по паркету вытянулись легкія причудливыя тѣни и на разноцвѣт-

ную толпу дѣтей, точно на букетъ цвѣтовъ, разсыпавшійся въ безпорядкѣ, падаютъ яркіе лучи.

Я любуюсь дѣтьми. Нельзя не заглядѣться на этихъ милыхъ крошекъ, чистыхъ, какъ ангелы, съ самымъ невиннымъ прошедшимъ и съ самымъ радужнымъ будущимъ. Когда отцамъ цѣна грошъ, всѣ надежды возлагаешь на дѣтей. Въ самомъ дѣлѣ, не стоило-бы, да и нельзя было-бы жить, еслибъ не было дѣтей. Жизнь, точно рѣка. Она беретъ начало изъ безконечности и впадаетъ въ безконечность. И если теперь волны ея мутны, то, можетъ, современемъ грязь осядетъ и ихъ смѣнятъ прозрачныя, кристальныя струи...

Я думалъ эту думу, глядя на дѣтей. И меня особенно плѣняла трехлѣтняя крошка, съ коротко остриженными черными волосиками, съ голыми пухлыми

ручками, съ голыми колѣнками. Она была въ бѣленькомъ платьицѣ, низко перевязанномъ лентой цвѣта *огонь*. Она посматривала на елку съ восторгомъ и недоумѣніемъ. Можетъ быть, она въ первый разъ видѣла елку. Но какъ только ей хотѣлось шумнымъ движеніемъ выразить свою радость, она въ страхѣ косилась на уголъ, гдѣ неподвижно стоялъ старикъ въ черномъ сюртукѣ и съ гладко выбритымъ лицомъ. Я вскорѣ замѣтилъ, что всѣ дѣти боятся этого старика. Оттого они такъ застѣнчивы и такъ не по дѣтски приличны.

Когда дѣтямъ были розданы подарки и гувернантка заиграла на фортепьяно, и дѣти стали танцовать, чинно и скучно, каждый разъ благодаря своихъ дамъ, усиленно шаркая и разговаривая между собою шопотомъ, я подозвалъ знакомую дѣвочку и спросилъ:

— Скажите, кто этотъ старикъ?

Она покраснѣла и засмѣялась. Это была разбитная, милая гимназистка, съ темнокаштановыми волосами. Она хотѣла убѣжать, но я удержалъ ее за руку.

— Отчего-же вы не отвѣчаете?

— Это Старый Годъ, я его такъ прозвала! проговорила она чуть слышно, лукаво сверкнувъ своими карими глазками, и затѣмъ прибавила: — Потому-что онъ самый старый здѣсь!

— Вы остроумная барышня. Какъ его фамилія?

— Не знаю, право. Сейчасъ тотъ мальчикъ разсказалъ намъ, что Старый Годъ ужасно злой. И бѣдная Соня — она указала на крошечную дѣвочку, которая мнѣ такъ понравилась — чуть не заплакала отъ страха... А знаете, мнѣ пришла мысль назвать ее Новымъ Годомъ... потому-что она самая молоденькая!

Сказавъ это, гимназистка бросилась отъ меня со всѣхъ ногъ и, схвативъ Соню на руки, закружилась по комнатѣ. Старикъ нахмурилъ густыя сѣдыя брови, нижняя губа его отвисла. Соня увидѣла его и расплакалась. Дѣти, разыгравшіяся было, притихли.

Я подошелъ къ старику. Онъ тупо взглянулъ на меня и сказалъ:

— Веселятся!.. Глупыя! Поставь имъ елку, навѣшай того, сего, прочаго, и довольно... Юный возрàстъ! Юный возрàстъ!

— Дѣти какъ дѣти, произнесъ я, чувствуя себя почему-то неловко передъ этимъ глубокимъ старикомъ.

— Это ваша дѣвочка? съ кислой гримасой спросилъ онъ, указывая на гимназистку, издали посматривавшую на насъ не очень-то дружелюбно.

— Нѣтъ. У меня нѣтъ дѣтей.

— Счастливый человѣкъ вы, милостивый государь, проговорилъ старикъ.

Я взглянулъ на него съ изумленіемъ.

— А у васъ есть дѣти?

Старикъ отыскалъ глазами икону, висѣвшую въ противоположномъ углу, и набожно сказалъ:

— Благодареніе Господу Богу моему, не имѣлъ и не имѣю... И не буду имѣть! Я ненáвижу дѣтей, убѣжденно произнесъ онъ.

— Откуда-жъ у васъ такая ненависть къ дѣтямъ? спросилъ я.

— Я, милостивый государь, вотъ ужъ двадцать лѣтъ директоромъ учебнаго заведенія и имѣлъ время возненавидѣть ихъ...

Онъ распространился въ описаніяхъ дѣтскихъ шалостей; губа его отвисала все больше и больше, и мнѣ было ужасно непріятно смотрѣть на его брезгливое и жестокое лицо.

Когда онъ кончилъ, я сказалъ:

— А вѣдь они не ошиблись. Вы знаете, всѣ эти дѣти, вотъ эти милыя, хорошія дѣти, съ неиспорченными благоухающими сердцами, не любятъ васъ. Эту дѣвочку, вонъ видите въ бѣленькомъ платьицѣ...

— Знаю я ее, скверная дѣвочка, проговорилъ старикъ.

— Такъ эту дѣвочку, продолжалъ я, дѣти прозвали Новымъ Годомъ, а васъ Старымъ Годомъ. И такъ-какъ старый годъ былъ отвратительный годъ, то изъ этого вы можете заключить, какъ у нихъ развито чувство аналогіи...

Старикъ посмотрѣлъ на меня, нахмурившись.

— Повѣрьте, что ихъ драть надо. Сегодня елка, завтра розги. Я изумляюсь, милостивый государь, что̀ вы находите въ нихъ милаго и благоуханнаго. А

впрочемъ—честь имѣю быть вашимъ покорнѣйшимъ слугою.

Онъ сухо и гнѣвно поклонился. Больше мы, разумѣется, не разговаривали. Ровно въ двѣнадцать часовъ уѣхалъ этотъ старикъ. Моя гимназистка захлопала въ ладоши. Маленькихъ дѣтей увезли раньше. Остались только лѣтъ по десяти, по двѣнадцати. Но Соня тоже осталась. И когда, среди внезапнаго оживленія, дѣти закружились съ громкимъ смѣхомъ около потухшей елки, крошечная дѣвочка вертѣлась тутъ-же, весело поѣдая конфекты, бѣлая, какъ пушинка, въ красномъ колпакѣ, доставшемся ей въ подарокъ, и кричала:

— Я Новый Годъ! Я Новый Годъ!

Январь, 1884.

Сборы на дачу.

СБОРЫ НА ДАЧУ.

Еще въ началѣ февраля, по совѣту кіевскихъ аборигеновъ, отправился Иванъ Иванычъ въ одну изъ подгородныхъ деревень высмотрѣть дачу и, если сходно, то и нанять. Въ пользу этой деревни было во-первыхъ то, что тамъ дачи дешевле; во-вторыхъ вода есть—цѣлый Днѣпръ къ услугамъ; въ третьихъ—мѣсто немодное, и жена Ивана Иваныча можетъ одѣваться какъ дома, а не какъ въ гостяхъ; наконецъ, въ этой деревнѣ не особенно людно, много воздуха, роскошные виды, необъятный горизонтъ.

На окнахъ дачъ изрѣдка попадались билетики и въ одну изъ нихъ вошелъ Иванъ Иванычъ.

Дачевладѣлецъ оказался молодымъ ученымъ, впрочемъ уже съ плѣшью, и съ такимъ видомъ, какой имѣютъ професора семинаріи, рукополагаемые въ протопопы. Впослѣдствіи онъ сообщилъ Ивану Иванычу, что командированъ заграницу, и подарилъ ему тоненькую дисертацію, изъ предисловія къ которой, а равно и изъ тезисовъ, никакъ нельзя было видѣть, что̀ хочетъ сказать молодой ученый.

Въ комнатѣ, которую занималъ будущій професоръ, господствовалъ безпорядокъ, свидѣтельствовавшій о томъ, что заграничная командировка, въ самомъ дѣлѣ, на носу. Изъ другой комнаты вышла супруга молодого ученаго, и

Иванъ Иванычъ, будучи представленъ ей, долженъ былъ выслушать похвалы ихъ деревнѣ, ибо только замѣчательная тишина и очаровательное уединеніе этого райскаго уголка заставили ихъ провести здѣсь зиму: Жоржъ (имя молодого ученаго) въ Кіевѣ чуть не получилъ воспаленія мозга не столько отъ усиленнаго занятія наукой, сколько отъ грохота мостовой и отъ этого вѣчнаго городскаго шума. Слушая объясненія жены, Жоржъ улыбался и гладилъ свою лысину.

Угостивъ Ивана Иваныча чаемъ, Жоржъ повелъ его осматривать дачи.

— Почти всѣ дачи заняты уже. Въ январѣ еще стали пріѣзжать сюда. Осталось немного. Вотъ эта осталась, эта... Мои остались дачи.

— А у васъ не одна?

— Какъ вамъ сказать? У меня въ сущности одна, неотъемлемая. Я за де-

вятсотъ рублей купилъ ее. Потомъ двѣ другія, съ огородами и лѣскомъ, хоть и куплены мною, но еще формальности не сдѣланы... Такъ-что не я отдаю ихъ въ наймы, а прежніе владѣльцы... Денегъ я далъ имъ половину, половина за мною. Пьяницы!

— А что?

— Да ужъ они ту половину пропили... Вотъ въ этомъ самомъ кабакѣ!

— Мужики?

— Да, мужики... Онъ столяръ, и хорошій столяръ, но... Вотъ онъ самъ!

Къ намъ подошелъ высокій красивый мужикъ цыганскаго типа, въ синемъ кафтанѣ, красномъ поясѣ, въ хорошихъ смазныхъ сапогахъ.

— Здравствуй, Павло!

— Здравствуйте.

— Вотъ они дачу пріѣхали нанимать. Покажи-ка имъ свою дачу. Можетъ, имъ понравится твоя дача.

— Пожалуйте.

Иванъ Иванычъ и ученый Жоржъ пошли вслѣдъ за Павломъ. Дача Павла была съ палисадникомъ, и семью окошцами смотрѣла на улицу изъ подъ высокой покрытой снѣгомъ крыши, словно изъ подъ колпака.

— Отличная дача, шепнулъ по дорогѣ Жоржъ.

Дача состояла изъ четырехъ крошечныхъ комнатъ и обширной кухни. Павло жилъ съ братьями. Комнаты были завалены столярнымъ инструментомъ, досками, стружками. Въ кухнѣ пищала куча крошечныхъ дѣтей и возлѣ печи хлопотала жена Павла.

— Тѣсновато, сказалъ Иванъ Иванычъ не безъ огорченія: Жоржъ былъ такой

услужливый молодой ученый, что ему не хотѣлось расходиться съ нимъ во вкусахъ. — Тѣсновато... Дѣйствительно, дача замѣчательная, превосходная, можно сказать, дача... И эти низенькіе потолки, эти крошечныя окошки, эти глиняныя стѣны—все это имѣетъ свою прелесть... Это деревня, да! Но...

— Тѣсновато, подхватилъ Жоржъ. Я съ вами согласенъ. Но если у васъ большое семейство, то вамъ можно взять, кромѣ этой дачи, вонъ еще ту. Я покупаю ее у старшаго брата Павла, Семена. Тамъ три комнаты... Пойдемте.

Огородомъ, по колѣно въ снѣгу, прошли они къ Семену. Ихъ встрѣтила старуха, мать этихъ братьевъ, и сурово посмотрѣла на молодого ученаго. Тотъ какъ-бы слегка оробѣлъ.

— Дачу вотъ пріѣхали посмотрѣть... объяснилъ онъ, бокомъ влѣзая въ дверь,

чтобъ не потревожить стоящей на порогѣ старухи.

— Смотрите, что-жъ...

Избенка была совсѣмъ дрянненькая.

— Премиленькая дачка! произнесъ Жоржъ, съ сладкимъ чувствомъ собственника глядя на облупившійся потолокъ и покосившіяся двери.

— М-да, промычалъ вѣжливый Иванъ Иванычъ.

Дрянность дачи нельзя было, впрочемъ, замаскировать никакими похвалами и Жоржъ прибавилъ:

— Разумѣется, все это будетъ поправлено, вымазано, выбѣлено. Лѣтомъ тутъ рай. Сирень, розы, соловьи...

Иванъ Иванычъ снисходительнѣе посмотрѣлъ кругомъ.

— А сколько за нее?..

— Бабушка, сколько? спросилъ Жоржъ.

— Ваше добро, а не наше, глухо проворчала бабушка.

Жоржъ улыбнулся и покраснѣлъ.

— Спросить надо у Семена.

— У Семена! Безъ языка лежитъ! Который день братья поятъ! Не будетъ у насъ угла! На землѣ родилась, а нищей умереть прійдется!

— Не разговаривай, милая, строго замѣтилъ Жоржъ, не глядя на старуху, и торопливо вышелъ изъ избы.

— Можетъ-быть, Иванъ Иванычъ желаете взглянуть на другія дачи? спросилъ онъ, переводя духъ на свѣжемъ воздухѣ. Я къ вашимъ услугамъ. Не подумайте, что я хочу навязать вамъ дачи, которыя нѣкоторымъ образомъ составляютъ мою собственность. Я далекъ отъ этого! Мнѣ просто пріятно угодить вамъ. Хоть я и имѣлъ честь познакомиться съ вами только сегодня, но смо-

трите на меня, какъ на своего давнишняго знакомаго...

Иванъ Иванычъ долженъ былъ горячо пожать ему руку. Въ свою очередь, ученый Жоржъ сдавилъ его пальцы, и чувство, которое онъ приэтомъ выразилъ, было такъ сильно, что пальцы Ивана Иваныча слиплись и онъ чуть не вскрикнулъ.

Они побывали на двухъ дачахъ. За одну просили пятсотъ рублей, за другую четыреста, и все-таки онѣ никуда не годились въ сравненіи съ московскими дачами, къ которымъ привыкъ Иванъ Иванычъ, проходя въ столицѣ свое служебное поприще. Да и были чересчуръ дороги.

Въ концѣ концевъ, Иванъ Иванычъ далъ задатокъ молодому ученому, для передачи Павлу и Семену, которые за

обѣ дачи хотѣли всего двѣсти пятдесятъ рублей.

— Ну, а какже вы воду будете возить? спросилъ Жоржъ.

— Изъ Днѣпра... отвѣчалъ Иванъ Иванычъ.

— Но вамъ надо купить бочку, лошадь, дроги...

— Я полагалъ, что здѣсь имѣются водовозы...

— Какіе водовозы! Дерутъ безбожно, если и есть! Да, наконецъ, все-таки своя лошадь, свой человѣкъ. Послать въ городъ, съѣздить—безъ лошади не обойдетесь. Нѣтъ, это необходимо! Вотъ что: купите у меня лошадь. Я уѣзжаю заграницу и мнѣ все равно надо продавать. Я заплатилъ за нее сорокъ рублей—продамъ за двадцать.

Дома онъ показалъ изъ окна лошадь. Иванъ Иванычъ съ любопытствомъ по-

смотрѣлъ на нее. Это была какая-то абстрактная лошадь, точно съ рисунка Дюрера, апокалипсическая, неимовѣрно худая.

— Лѣтомъ на подножный кормъ, она и поправится, проговорилъ Жоржъ.

— М—да...

— При ней—сбруя, телѣжка, окованная желѣзомъ... Видите?

— М—да...

— Даромъ, можно сказать, отдаю.

Подумавъ, Иванъ Иванычъ согласился. Но Жоржъ прибавилъ:

— Телѣжку, сбрую и бочку вы, впрочемъ, осенью должны будете мнѣ возвратить.

Иванъ Иванычъ пріятно улыбнулся.

— Съ удовольствіемъ.

— А за прокатъ вы мнѣ, сверхъ тѣхъ двадцати, заплатите еще двадцать пять рублей.

Вторично подумавъ, Иванъ Иванычъ отказался и отъ телѣжки съ сбруей и бочкой, и отъ апокалипсической лошади.

Между новыми друзьями пробѣжала черная кошка.

Черезъ два мѣсяца, Иванъ Иванычъ, взявъ жену и домочадцевъ, опять отправился въ деревню—показать имъ дачу и посмотрѣть, отдѣланы-ли и очищены обѣ нанятыя имъ хатки.

Жоржъ уже уѣхалъ заграницу. Въ одномъ изъ овраговъ бѣлѣлись конскія кости—должно быть, лошадь молодого ученаго не дождалась подножнаго корма и околѣла. По двору той дачи, гдѣ онъ жилъ, бродили полумертвыя голодныя собаки. На дрогахъ лежала бочка, за прокатъ которой Жоржъ требовалъ двадцать пять рублей, и разсыхалась подъ лучами апрѣльскаго солнца. Иванъ Иванычъ, не смотря на свое вро-

жденное добродушіе, испыталъ, при взглядѣ на эту картину, пріятное чувство.

Но онъ былъ удивленъ, что свободныхъ дачъ теперь гораздо больше, чѣмъ было зимою.

Хатки не понравились женѣ Ивана Иваныча, да ужъ что дѣлать — не воротишь. Въ добавокъ, онѣ еще не были очищены и въ нихъ попрежнему жили Павло и Семенъ, съ братьями, женами и дѣтьми.

— Когда-же вы дачу очистите?

— Черезъ мѣсяцъ. Все никакъ не раздѣлимся. Надо намъ раздѣлиться, ну, тогда милости просимъ.

Старуха мрачно молчала.

Изъ любопытства Иванъ Иванычъ и жена его зашли взглянуть на свободныя дачи. Особенно понравилась имъ дача, которая была рядомъ и которую Жоржъ Ивану Иванычу не показалъ, сказавши,

что въ ней живетъ одна старушка и въ наймы ее не отдаетъ. Одно изъ немаловажныхъ достоинствъ этой дачи было то, что она была меблированная.

Жена Ивана Иваныча съ упрекомъ посмотрѣла на мужа. Мужъ потупилъ глаза и, нащупавъ въ карманѣ пальто залежавшуюся тамъ дисертацію Жоржа, подумалъ:

— Да! Нынѣшніе ученые!

Въ половинѣ мая, когда уже давно пора была переѣзжать на дачу, Иванъ Иванычъ пріѣхалъ въ деревню—въ послѣдній разъ, какъ онъ полагаетъ—посмотрѣть, не выбралось-ли, наконецъ, семейство Павла и Семена. Нѣтъ, не выбралось! Пришлось дать имъ денегъ на наемъ себѣ помѣщенія въ другомъ мѣстѣ, а старухѣ предоставить жить въ каморкѣ, такъ-какъ она не хочетъ разставаться съ роднымъ гнѣздомъ. Пусть ужъ

самъ Жоржъ, по возвращеніи изъ ученой командировки, выкинетъ на улицу эту жалкую женщину, которая питаетъ къ дѣдовской землѣ такую ни съ чѣмъ несообразную привязанность.

Съ невеселыми мыслями возвратился Иванъ Иванычъ домой.

Май, 1884.

Спеціалистъ.

СПЕЦІАЛИСТЪ.

Поѣздъ подходилъ къ Кіеву. Вагонъ былъ набитъ пасажирами, и Иванъ Михайлычъ, толстый человѣкъ, лѣтъ тридцати, съ бритымъ и сытымъ лицомъ и наивными глазами захолустнаго провинціала, внимательно смотрѣлъ на публику, въ окно, откуда виднѣлся Днѣпръ и кіевскія церкви, прислушивался къ разговору, къ толкамъ богомольцевъ и богомолокъ и повременамъ успокоивался, складывалъ руки на животѣ и вертѣлъ пальцами.

Возлѣ него сидѣла, держа на рукахъ горбатенькаго малютку, пожилая женщина, глаза которой выражали ис-

пугъ и напряженное любопытство дикарки. Она слушала, какъ позади нея купчиха, ѣдущая на богомолье въ Лавру, разсказывала про убійство шести богомолокъ. Разбойники напали на нихъ подъ самымъ Кіевомъ, зарѣзали и „выпотрошили“, забравъ, разумѣется, все, что можно было забрать—деньги, одежду, паспорты и даже дорожныя палки.

— Страсти какія, о, Господи! думала старуха и крѣпко прижимала къ себѣ горбунчика.

Эта старуха была дальней родственницей провинціала и служила у него нянькой; преданное и любящее существо. Всей душой была она расположена къ семьѣ провинціала, но особенно полюбился ей горбунчикъ, потому-что это былъ жалкій, несчастный ребенокъ. Онъ родился крѣпкій и здоровенькій, какъ

всѣ дѣти Ивана Михайлыча; но взяли кормилицу, — и дитя стало чахнуть, пожелтѣло, спинка согнулась, выросъ горбикъ, распухло колѣнко. Доктора посовѣтовали везти его въ Кіевъ, гдѣ столько медицинскихъ знаменитостей. Иванъ Михайлычъ, не смотря на множество дѣлъ, сейчасъ-же собрался и тронулся въ путь вмѣстѣ съ старой няней. Очень ему хотѣлось, чтобъ бѣдный мальчикъ его выздоровѣлъ.

— Иванъ Михайловичъ, слышали вы, батюшка, какъ въ вагонѣ расказывали, будто-бы порѣзали богомолокъ? говорила старуха вечеромъ того-же дня въ номерѣ гостинницы, уложивъ ребенка спать и распивая съ Иваномъ Михайлычемъ чай.

— Слышалъ, Родивоновна, слышалъ.

— Надо, батюшка, осторожно здѣсь...

— Не зарѣжутъ, не бойся, старуха.

— Не ровенъ часъ, батюшка...

— Полно вздоръ молоть!

На другой день, одѣвъ по-приличнѣе ребенка, Иванъ Михайлычъ и няня первымъ дѣломъ отправились къ медицинскимъ знаменитостямъ.

Они посѣтили д-ра Р., д-ра А. Ихъ приняли вѣжливо, разспросили, прописали что-то, послали къ другимъ докторамъ. Есть спеціалисты, пусть они еще посмотрятъ. И Иванъ Михайлычъ велѣлъ везти себя къ спеціалистамъ.

Спеціалистъ Z. былъ еще молодой человѣкъ. Когда Иванъ Михайлычъ вошелъ въ пріемную залу, спеціалистъ стоялъ возлѣ какой-то дамы, зорко посмотрѣлъ на вошедшаго и снова обратился къ дамѣ.

— Держите руку, сказалъ онъ ей.

Иванъ Михайлычъ осмотрѣлся. Въ пріемной было много народу, преимущественно евреевъ и евреекъ. У иныхъ были завязаны руки, иные стояли на костыляхъ. Няня съ горбунчикомъ держалась за спиной Ивана Михайлыча. Она, видимо, была смущена.

— Держите руку, вамъ говорятъ! возвысилъ голосъ спеціалистъ.

Иванъ Михайлычъ видѣлъ, какъ дама робко протянула руку съ страшно распухшимъ пальцемъ; у ней былъ вывихъ. Докторъ одной рукой схватилъ даму за локоть, а другою сталъ вытягивать больной палецъ.

— О, докторъ, больно!

— Тише!

— Не могу, ой, ой! Пустите! заорала больная.

— Молчать! прикрикнулъ докторъ и, по-

краснѣвъ отъ досады и натуги, продолжалъ тянуть палецъ.

— Ой!

— Да замолчите-же, вамъ говорятъ! крикнулъ спеціалистъ, но такъ громко, такъ грубо и грозно, что всѣ въ залѣ притихли отъ страха и затаили дыханіе. Иванъ Михайлычъ пощупалъ, на всѣ-ли пуговицы застегнутъ у него сюртукъ, а старуха няня зубъ-на-зубъ не попадала. Ребенокъ хотѣлъ заплакать, но не посмѣлъ. Точно передъ чѣмъ недобрымъ, наступило въ пріемной зловѣщее молчаніе. „Здѣсь все равно, какъ инквизиція“, думалъ провинціалъ и глядѣлъ то на даму, съ которой возился докторъ, то на своего бѣднаго горбунчика. Жутко становилось ему за малютку.

Дама вскрикнула въ послѣдній разъ— спеціалистъ поставилъ ей палецъ на мѣ-

сто. Затѣмъ онъ жестомъ подозвалъ Ивана Михайлыча.

— Вамъ что надо?

— Да вотъ...

Иванъ Михайлычъ указалъ на старуху, державшую горбунчика.

— Пріѣзжій?

— Такъ точно...

— Поставьте мальчика на ноги!

— Онъ не можетъ стать, колѣнко распухло...

— Поставьте его на ноги, говорю я! приказалъ докторъ и сдвинулъ брови самымъ неумолимымъ образомъ.

Старуха попробовала поставить ребенка, но онъ, дѣйствительно, не могъ стоять.

Докторъ повернулся и сдѣлалъ знакъ фельдшеру.

Этотъ фельдшеръ съ подобострастными манерами, плюгавой физіономіей

спившагося приказнаго и, главное, съ носомъ, состоявшимъ изъ какихъ-то безобразныхъ лоскутковъ, производилъ на паціентовъ подавляющее впечатлѣніе. Иванъ Михайлычъ, увидѣвъ его, потихоньку сплюнулъ.

— Раздѣнь мальчика, сказалъ фельдшеръ старухѣ.

Старуха раздѣла горбунчика.

Докторъ произнесъ что-то полатыни. Фельдшеръ вдругъ протянулъ руки къ мальчику, ущемилъ между ладонями большую золотушную головку и поднялъ его на воздухъ. Бѣдняжка повисъ, точно ощипанный цыпленокъ въ рукахъ повара.

Онъ висѣлъ такъ нѣсколько минутъ, вытаращивъ глазенки, раскрывъ ротикъ, безпомощный и жалкій. У Ивана Михайлыча навернулись слезы. Старуха была ни жива, ни мертва.

— У вашего мальчика двѣ болѣзни, началъ объяснять спеціалистъ. Одна въ спинѣ, другая въ ножкѣ. Надо серьезное леченіе. Пустяками не отдѣлаетесь. Вотъ что—корсетъ...

— Позвольте, господинъ докторъ, изложить... началъ провинціалъ, которому хотѣлось разсказать исторію болѣзни своего ребенка.

— Нечего разговаривать! Много васъ тутъ! Говорю—корсетъ! Русскимъ языкомъ говорю?

Иванъ Михайлычъ замолчалъ.

— Одѣньте ребенка, сказалъ докторъ.

Няня посадила его на стулъ и стала одѣвать. Она была рада, что мальчикъ остался живъ.

— Снимите со стула, брезгливо произнесъ докторъ. Снимите со стула! крикнулъ онъ. Много васъ тутъ! Посадите его на полъ.

Иванъ Михайлычъ помогъ старухѣ снять ребенка. Онъ присѣлъ возлѣ него на корточкахъ и старался забавить.

— Послушайте, вы!

Иванъ Михайлычъ всталъ и стремительно подошелъ къ спеціалисту.

— Вы слышали, что я сказалъ?

— Не могу знать...

Докторъ грозно выпучилъ глаза.

— Я сказалъ: корсетъ!

— Такъ точно-съ.

— Вотъ и все леченіе. Это мой рецептъ. Вы уже сами сторгуйтесь съ моимъ фельдшеромъ.

Удручающая физіономія фельдшера приэтомъ расцвѣла и носъ его можно было-бы сравнить съ мясистымъ цвѣткомъ о трехъ лепесткахъ. Онъ улыбнулся въ сторону Ивана Михайлыча; тотъ опять потихоньку сплюнулъ. Хотя Иванъ Михайлычъ самъ принадлежалъ къ купе-

ческому сословію, ведя бойкую торговлю пенькой въ своемъ родномъ захолустьѣ, но услышавъ отъ доктора приглашеніе „торговаться“ съ фельдшеромъ, почувствовалъ себя неловко. На его жирномъ бѣломъ лицѣ выступила краска стыда. Онъ конфузливо спросилъ:

— То-есть, на счетъ корсета изволили сказать?

— Ну, да, русскимъ языкомъ сказалъ! раздражительно замѣтилъ докторъ. Есть корсеты на разныя цѣны... Ты, старуха, отправляйся съ мальчикомъ отсюда прочь—вонъ туда, въ садъ. А вы подождите, мнѣ теперь фельдшеръ нуженъ. Кончитъ мнѣ помогать, тогда вы съ нимъ и поговорите.

Пріемъ продолжался еще около часа. Иванъ Михайлычъ терпѣливо ждалъ и все смотрѣлъ въ окно на своего горбунчика. Иногда выскакивалъ въ садъ фельд-

шеръ и о чемъ-то говорилъ со старухой. Впослѣдствіи няня передала Ивану Михайлычу содержаніе этого интереснаго разговора. Фельдшеру хотѣлось знать, богатъ или бѣденъ Иванъ Михайлычъ.

— Да Богъ-же его знаетъ! отвѣчала старуха, вспоминавшая зарѣзанныхъ богомолокъ и начинавшая, по своей захолустной простотѣ, подозрѣвать несообразныя вещи.

— Ну, какъ примѣрно, гнусилъ фельдшеръ,—тысячъ десять есть?

Старуха совсѣмъ перепугалась.

— Что, вы батюшка, стала она хитрить, какіе у насъ достатки!..

„А сердце такъ и колотится, и колотится“, разсказывала она потомъ.

Когда послѣдній паціентъ ушелъ, оставивъ доктору свой рубль, спеціалистъ, не взглянувъ на Ивана Михайлыча, направился въ кабинетъ и сталъ бесѣ-

довать тамъ съ гостемъ. Къ Ивану Михайлычу подошелъ фельдшеръ.

— Такъ вамъ корсетъ надобно?

— Такъ точно. Господинъ докторъ находятъ, что именно нужно...

— Отлично. Можно. Есть корсеты, то-есть сдѣлать надо будетъ. Обойдется вамъ корсетъ въ семдесятъ пять рублей серебра.

— Что-жъ это лучшаго сорта, или-можe, есть корсеты подороже?

— Нѣтъ, это будетъ акуратъ. Ни дешевый, ни дорогой. Корсетъ, одно слово.

Иванъ Михайлычъ видѣлъ уже корсетъ въ своемъ захолустьѣ у одного богатаго барина; у того дѣвочка горбатенькая. Корсетъ тотъ стоилъ тоже семдесятъ пять рублей и былъ купленъ въ Москвѣ. Онъ былъ весь изъ замши, лайки и стали.

— „Вотъ еслибъ такой корсетъ, подумалъ Иванъ Михайлычъ, то можно было-бы и дороже дать“.

— А можно посмотрѣть? спросилъ онъ въ-слухъ.

— Чего? Корсетъ? Говорю, что надо еще будетъ сдѣлать. Надо мѣрку снимать. Каждый день мѣрку надо снимать. А вы ребенка ко мнѣ доставляйте.

— Сколько-же времени вы будете корсетъ дѣлать?

— Ровно двѣнадцать дней.

— Помилосердуйте, я торговый человѣкъ! Мнѣ нельзя здѣсь жить двѣнадцать дней. Чи не можно раньше?

Фельдшеръ молчалъ.

— Чѣмъ-же вы обложите корсетъ? лайкой, замшей?

— Суконцемъ, произнесъ фельдшеръ и показалъ на сукно своего поношеннаго сюртука.

БИБЛІОТЕКИ А. Н. ОЕДОРОВОЙ. ВЪ САМАРѢ

— „Чего добраго! Ёнъ изъ стараго сюртука моему ребенку корсетъ сдѣлае“! подумалъ Иванъ Михайлычъ со страхомъ.

— Отчего-же такъ долго вы будете его дѣлать?

— Оттого, что буду...

— Готовыхъ не продаютъ?

— Докторъ не велитъ. Надо по мѣркѣ. Да вы думаете, большой барышъ мы съ васъ беремъ? Намъ самимъ обойдется онъ въ сорокъ рублей! Есть изъ чего возиться!

Слово „барышъ“ опять покоробило купца, который полагалъ, что „барышъ“ имѣетъ мѣсто только за прилавкомъ, а доктора просто „получаютъ вознагражденіе за трудъ“.

— Вы меня извините, господинъ фельдшеръ, началъ онъ, но только помилуйте, я-же понимаю, что на сорокъ рублей ма-

терьялу сюда не пойдетъ... Крошечный корсетикъ... Разумѣется, трудъ—ну это такъ, я за этимъ не стою...

— Много вы понимаете! возразилъ фельдшеръ и, приложивъ пальцы къ носу, тщетно пытался высморкаться.

— Какой-же матерьялъ, —изложите? добивался практическій Иванъ Михайлычъ, давно уже смекнувшій, что тутъ, въ самомъ дѣлѣ, что-то неладно.

— А такой...

— А нуте?

— Стекло буду толочь, желѣзо молоть, пробормоталъ фельдшеръ, разозлившійся на провинціала. Въ качествѣ „образованнаго“ человѣка, онъ, кромѣ того, питалъ глубочайшее презрѣніе къ провинціальнымъ паціентамъ и ему доставляло удовольствіе огорашивать ихъ разнымъ вздоромъ, въ особенности, если это были купцы, мѣщане, крестьяне.

Иванъ Михайлычъ замолчалъ и не сталъ разговаривать съ фельдшеромъ.

Черезъ нѣкоторое время онъ велѣлъ доложить о собѣ доктору.

— Ну, что?

— Позвольте васъ спросить, господинъ докторъ, неужлижъ корсетъ надо дѣлать двѣнадцать дней?

— Кто вамъ сказалъ — фельдшеръ? Значитъ, это вѣрно. Двѣнадцать дней, да!

— Помилуйте, мнѣ это долго! Я вотъ что — дамъ телеграмму домой, пускай пріѣдетъ на мое мѣсто кто другой и жде. А я долженъ скоро ѣхать...

— Не разговаривайте! крикнулъ докторъ. Вотъ народъ! Ничего толкомъ не скажетъ! Мнѣ нѣтъ дѣла до вашихъ домашнихъ! Понимаете-ли вы это? Вы мнѣ скажите одно, отвѣтьте на мой вопросъ: что вы порѣшили съ фельдшеромъ? Покупаете вы корсетъ, или не покупаете?

— Позвольте мнѣ, господинъ докторъ...

— Молчать! Вы купецъ?

— Такъ точно.

— Такъ я васъ вижу насквозь. Вамъ ребенка не жаль. Вамъ деньги дороже.

Спеціалистъ презрительно и съ сожалѣніемъ сталъ качать головой. Гость его сидѣлъ поодаль и улыбался.

— Позвольте васъ поблагодарить, холодно сказалъ взбѣшенный, наконецъ, Иванъ Михайлычъ.

И подавъ бумажку доктору, онъ быстро вышелъ изъ кабинета и уѣхалъ съ ребенкомъ и няней въ гостинницу.

Всю ночь не могъ онъ заснуть.

— Куда я попалъ? спрашивалъ онъ себя, волнуясь до пота и ворочаясь на постели. Вѣдь это, вправду, чуть-чуть не разбойничій вертепъ!

На другой день онъ повезъ ребенка къ ветерану-хирургу К. Тотъ внима-

тельно осмотрѣлъ ребенка, спросилъ, какъ началась болѣзнь и развивалась, и сказалъ, что ни подъ какимъ предлогомъ нельзя надѣвать корсета. Надѣть корсетъ—значитъ, замедлить выздоровленіе.

На обратномъ пути Иванъ Михайлычъ, на протяженіи пятисотъ верстъ, то-и-дѣло, разсказывалъ о своемъ хожденіи по кіевскимъ докторамъ и, несомнѣнно, очень много способствовалъ популярности доктора Z. Кончая разсказъ о немъ, онъ каждый разъ восклицалъ:

— Вотъ ужъ такъ спеціалистъ! Мое почтеніе!

Августъ, 1884.

Врагъ рода человѣческаго.

ВРАГЪ РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО.

— Одного не могу взять въ толкъ, баринъ,—отчего это люди накладываютъ на себя руки... Я такъ полагаю, что врагъ путаетъ, а отъ себя ни въ какомъ случаѣ это не приходитъ... Вотъ я, напримѣръ: сколько времени я бѣдовалъ, и ужасти, какъ мнѣ скверно и горько приходилось, ну, однако-же, о томъ, чтобы застрѣлиться, либо утопиться, либо зарѣзаться, или тамъ удавиться—никогда, вѣрите Богу, мысли не было. Правда, что я, хоть по моему извозчичьему ремеслу въ церковь не хожу, но ежедневно благодарю Творца Вышняго за все, что онъ ни пошлетъ мнѣ.

Куплю я лошадку дешево—и благодареніе Господу. Околѣетъ у меня лошадка—и за то благодареніе Господу. За все, за все! И такъ-какъ есть во мнѣ вѣра, то *онъ* никогда и не смущаетъ меня. А вотъ жена покойная—та, бѣдняжка, не выдержала. Попуталъ врагъ! Самъ явился и попуталъ! Произошло это такимъ способомъ. Женился я—было мнѣ ужъ сорокъ, а ей натурально двадцать, или такъ двадцать первый. Ну, какъ я ухаживалъ, то замѣчалъ, что нѣтъ за ней а никакого приданаго, родители у ней бѣдные и сама она ходитъ зимою въ холодненькой накидочкѣ; ручки до локтей засунетъ и бѣжитъ къ сосѣдямъ полѣнцо дровъ занять или хлѣбца. Звали ее Параскевіей. Мнѣ, знаете, жаль было смотрѣть на такую бѣдноту. Жилъ я тогда припѣваючи, оттого, что свой извозчичій дворъ былъ и троихъ извозчиковъ держалъ, да шесть лошадей, да фаэтонъ.

Куфарку держалъ за мѣсто хозяйки. Можно сказать, словно какъ подрядчикъ какой, либо купецъ, завсегда сытъ и много всѣмъ доволенъ, первый хозяинъ на Шулявкѣ! Борщъ у меня съ саломъ, каша тоже съ саломъ, праздникомъ и курочка, и поросеночекъ. А водки сколько хочешь! Вотъ посматриваю я на Параскевію—а она рядомъ-же со мной у родителей проживала—и все льщусь на нее. Вѣрите, дошло до того, что на старости лѣтъ сохнуть по дѣвкѣ сталъ. Между-тѣмъ куфарка постарѣла, негодная сдѣлалась, я и думаю: не жениться-ли мнѣ, бобылю, на Параскевіи. Можетъ, мнѣ Богъ за это поможетъ, что осчастливлю я ее, горькую бѣдняжечку. Перестанетъ она бѣгать по сосѣдямъ за солью, да за ложкой муки, станетъ сама госпожей, а хозяйствовать, слава Богу, есть надъ чѣмъ. Къ тому-же, ничего дурного я за ней не примѣчалъ, поведеніе у

ней вполнѣ добропорядочное. Началъ я присватываться; отказу, конечно, старики не сдѣлали. Параскевія промолчала, въ землю потупилась; тоже, значитъ, согласіе дала. Я подарки сдѣлалъ, на платье, на одно, а также на другое, еще и шубку сдѣлалъ, и однимъ словомъ все какъ есть приданое построилъ, окромѣ рубашекъ, которыя мать ей сама пошила. Я ужъ, правду сказать, изъ силъ выбился и попросилъ, чтобъ на бѣлье хоть заняли, да сдѣлали-бы. Отлично. Вотъ только повѣнчались мы, съиграли свадьбу, пошли спать. Кровать у насъ съ пуховиками и одѣяло новое, шерстяное, и образа, и лампадка; и на толкучкѣ зеркало въ золотыхъ рамахъ я пріобрѣлъ довольно сходно, то и его повѣсилъ. Говорю женѣ: „Милая, говорю, жена, начинается теперь новая жизнь для насъ; и вотъ скажу тебѣ отъ всей души, что доколѣ жить буду,

останусь къ тебѣ приверженъ, лишь-бы то-есть ты цѣнила мое благодѣяніе, да помнила, что взялъ я тебя бѣдную и, можно сказать, совершенно голую. Не забывай никогда этого, бѣдняжечка, что я сожалѣлъ тебя, и хочу, какъ я есть мужъ твой законный и глава, дабы ты завсегда была мнѣ вѣрна и услужлива, и Боже тебя храни, если ты станешь мнѣ въ чемъ перечить. Объявляю тебѣ также, моя любезная супруга, что если замѣчу тебя въ чемъ-либо недобропорядочномъ, то не посмотрю ни на твои лѣта цвѣтущія, ни на очи твои кроткія, а привяжу къ возу и буду тиранить тебя, сколько моей душѣ угодно«. Сказалъ это я такъ, и жду, что она отвѣтитъ. А она стоитъ бѣлѣй своей рубахи и дрожитъ, какъ молодая осина. Ни слова не проговорила, закрыла лицо руками, да бухъ мнѣ въ ноги. „Лександръ Петровичъ, воскрикнула, простите меня, я уже виновата. Но

только не передъ вами, а было то давно и произошло по моему малолѣтнему любопытству". Промолчалъ я, досадно мнѣ стало, а потомъ того махнулъ рукой, обнялъ и поцѣловалъ свою супругу и сказалъ: «Лишь-бы впредь не было, а снявши голову, по волосамъ не плачутъ. Будемъ жить въ страхѣ Божіемъ и взаимной любови"! И чтожь-бы вы думали: былъ я, дѣйствительно, что счастливъ съ нею цѣлый годъ. Хозяйство наше пошло въ гору, доходы удвоились. Уже мы каждый день за обѣдомъ мясо ѣдимъ; бутылка пива безпремѣнно. Къ намъ гости и мы въ гости. Околоточный къ намъ заходитъ и все не иначе, какъ »Лександръ Петровичъ, да Лександръ Петровичъ«! Домишко я насмотрѣлъ и уже подумываю, какъ-бы купить, чтобъ свое, значитъ, все было—и дворикъ и огородина, и птица, и сарай, и цвѣточки.—Жена цвѣточки

любила. — Зачастили мы и въ циркъ. Что вечеръ, то и въ циркъ, и въ циркъ. Вотъ разъ сидимъ мы съ женою и смотримъ, какъ барышня въ коротенькой этакой юпочкѣ сквозь обручи прыгаетъ съ лошади на лошадь, ажь глядь — приходитъ и садится возлѣ насъ на пустое мѣсто господинъ, нельзя сказать, чтобы старый, а скорѣе молодой. Да противный! Лысый, безъ бровей, носъ точно ножемъ перебитъ, губы мокрыя, и все плюетъ. Сѣлъ и въ лорнетку на жену посмотрѣлъ, а потомъ за руку ее взялъ и говоритъ: „Здравствуйте!“ Сейчасъ съ Параскевіей ровно какъ столбнякъ случился. Затряслась она, поблѣднѣла, смотритъ, а только не видитъ. Между тѣмъ безносый такъ и трещитъ, и трещитъ. „Я, говоритъ, очень радъ, что съ вами сустрѣлся послѣ столькихъ лѣтъ. Вы, говоритъ, очень какъ похорошѣли, но и

тогда вы мнѣ нравились, говоритъ, и я, говоритъ, часто вспоминаю тое благополучное время, какъ у васъ пожильцемъ жилъ, а вы мнѣ, говоритъ, самоварчикъ по утрамъ приносили". Молчитъ Параскевія, какъ воды въ ротъ набрала. Вышли мы изъ цирка, сѣли въ санки. Вѣтеръ сильно дуетъ и фонарь мигаетъ, и мнѣ то видать Параскевію, то не видать. Но только замѣчаю, что она опять испугалась и направо поглядываетъ. Глянулъ я и вижу, что тотъ безносый шляпу снялъ и низко ей кланяется, а на шеѣ у него, какъ теперь помню, красный шарфъ замотанъ. Тронулъ я лошадь, пріѣхали мы домой. Нахмурился я. Параскевія ни слова. Этакъ день прошелъ, этакъ и другой, а можетъ и еще другой. Не ѣстъ Параскевія, не спитъ, перестала усмѣхаться, отъ хозяйства отбилась и коровѣ помой забыла вынести.

Спрашиваю я: »Скажи мнѣ, Параскевія, что это съ тобою? Отчего ты такъ вдругъ перемѣнилась? Кого ты сустрѣтила въ циркѣ? Скажи мнѣ, супруга любезная? Иль ты забыла мой завѣтъ тебѣ супружескій? Помнишь, что говорилъ я тебѣ послѣ вѣнца«? Но она мнѣ не отвѣтила, а только заплакала, и этакъ сумно, и очень даже сумно провели мы вечеръ, а какъ легли, то я отъ цвѣтущихъ ея прелестей взоръ отвратилъ и нарочито на край постели откатился. Встаю я обнаковенно рано, а на тотъ случай почему-то заспалъ. Такъ что ужъ свѣтало, когда я продралъ глаза. Повернулся — Параскевія стоитъ на кровати, у самой стѣнки, и такая она высокая мнѣ показалась! »Параскевія, говорю, чего ты стоишь«? Молчитъ. Я тронулъ ее за босую ногу, а она безо всякаго шуму покачнулась направо, потомъ-того на-лѣво, какъ маят-

никъ на часахъ. Я къ ней.—»Боже мой, что ты надѣлала, супруга моя любезная!« Ротъ у ней распухъ, языкъ выперло, глаза застыли, холодная, закоченѣлая... Ахъ, ты жизнь моя горькая!— Пришла полиція, составили протоколъ, затѣмъ анатомили и ничего не нашли, натурально. Похоронили Параскевію, безъ попа и безъ хоругвъ, и запилъ я. То-есть окончательно все пропилъ, что было, до послѣдней нитки, лошадей, фаэтонъ, санки, дрожки, съ квартиры сошелъ и босякомъ сдѣлался. Горько мнѣ было, ахъ, до чего горько, что попущено было врагу рода человѣческаго жену мою смутить и душу ея погубить, но все-же не возроптalъ я на судьбу и вторично произошелъ къ жизни. А что ей самъ врагъ тогда въ циркѣ явился, въ томъ я теперь не сомнѣваюсь. На его головѣ этакія двѣ красныя шишки на манеръ

рожковъ торчали. Конечно, и то сказать, что, можетъ, это ей наказаніе было за тотъ грѣхъ. Лучше-бы я самъ поучилъ ее, то *ему* было-бы уже и не такъ легко. А то появился, смутилъ и сгубилъ.

Старикъ замолчалъ и видно было, что ему тяжело переживать картины ужаса и разоренія, нарушившія такъ внезапно его душевный миръ и разбившія его счастье. Но когда я спросилъ, какимъ-же образомъ »произошелъ« онъ »вторично къ жизни«, онъ широко и радостно улыбнулся и такъ заключилъ свой разсказъ:

— А весьма замѣчательно. Было это уже лѣтъ семь-восемь тому назадъ. Дожился я до того, что ночевалъ и дневалъ въ Царскомъ саду, голый и босый; послѣдній человѣкъ, однимъ словомъ, сдѣлался. Вотъ только на Успенье былъ храмъ въ Лаврѣ. Стала укорять меня совѣсть, что за пьянствомъ Бога

RETURN TO → CIRCULATION DEPARTMENT
202 Main Library

LOAN PERIOD 1 | 2 | 3

HOME USE

YC120675

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

B000894046

RETURN TO ➞ CIRCULATION DEPARTMENT
202 Main Library

LOAN PERIOD 1	2	3
HOME USE		

YC120675

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

B000894046